

В. КОРСАК

СО ВСЕМИ ВМЕСТЕ



ТОГО ЖЕ АВТОРА:

Плен. — Изд. «Родник». Париж, 1927.

Забытые. — Изд. «Родник». Париж, 1928.

У Красных. — Изд. «Москва». Париж, 1930.

У Белых. — Изд. «Москва». Париж, 1931.

Великий исход. — Изд. «Москва», Париж, 1931.

Под новыми звездами. — Изд. «Москва», Париж, 1933.

История одного контролера. — Изд. «Родник». Париж, 1929.

Юра. — Изд. «Парабола». Париж-Берлин, 1935.

Жуки на солнце. — Изд. «Русская Книга». Париж-Таллинн, 1936.

Шарманка. — Изд. «Русская Книга». Париж-Таллинн, 1937.

Печать. — Изд. «Русская Книга». Париж-Таллинн, 1938

В гостях у капитана. — Изд. «Русская Книга». Париж-Таллинн, 1939.

Рим. — Изд. «Посев». Париж - Мюнхен, 1949.

Один. Роман из жизни эмиграции — Изд. «Дом Книги». Париж, 1951.

Вдвоем. Роман из жизни эмиграции — Изд. «Дом Книги». Париж, 1951.

В. КОРСАК

СО ВСЕМИ ВМЕСТЕ

Оборвавшийся роман

МЕЖДУ НЕБОМ и ВОДОЙ

Повесть

ГОЛУБАЯ ЗВЕЗДА.

Сказка - балет

(Посмертное издание с портретом автора)

**ОБЛОЖКА, ГРАВЮРА НА ДЕРЕВЕ РАБОТЫ
ХУДОЖНИКА Е. И. КОНОПАЦКАГО**

ПАРИЖ

**Tous droits de reproduction, de traduction
et d'adaptation réservés pour tous pays.**

Copyright 1952 by the author



ВЕНЬЯМИН ВАЛЕРИАНОВИЧ КОРСАК

(1884 — 1944)

ГЛАВА I

У СЕБЯ

Я сижу в кресле на солнце. Небо ясное, погода сухая. Дождя не было давно-давно. Молодые сосны пожелтели, словно их позолотили. Тополь трепещет от легкого ветерка своими атласистыми листьями. Юркие ящерицы шмыгают осторожно в траве. Одна, побольше, остановилась у моей ноги, повертела головой, что-то вспомнив нырнула в густой вереск и пропала. Молодые ласточки летают над крышей и садятся отдохнуть на самый конёк. Поправив белую жилеточку, они что-то щебечут и, перекачнувшись вперед и назад, снова принимаются летать. Это они упражняются перед отлетом в далекие, теплые страны. Хорошо на солнце, тепло.

Я забываю «Рим», над которым работал, христиан,

язычников, преследования императоров и отдаюсь спокойной ласке мирного августовского дня. Вокруг — тишина нерушимая. Все почти дачники уже уехали, и безлюдье создает особое, торжественное настроение; я как будто не в редком сосновом лесу, а в пустынном храме, покинутом толпой.

Но далеко от того места, где я сейчас нахожусь, происходит что-то тревожное. Люди, встретившись, часто произносят страшное слово — война. Все думают и гадают, будет-ли снова мир воевать, или нет?

Одни уверенно говорят: войны не будет, теперь весь мир так связан, так сцеплен между собой, что война непременно должна охватить всех людей, весь земной шар, — это было-бы безумием. Другие только покачивают головой и повторяют: война неизбежна.

А я думаю: что такое война? Нечто метафизическое, скрытое от сотворения человека в нём самом, или же это только желание захватить получше место под солнцем и никого не пустить? Было-бы мне лишь хорошо. Кто это решит? Лично я не хочу войны; я ее уже видел, знаю ее не с парадного крыльца, а с черного хода, и с меня достаточно. Но что значу я, кому интересно мое желание?

С каждой стороны есть люди желающие войны, желающие горя фанатично, но многие-ли из них пойдут в бой? — Может быть, никто. Они будут командовать, распоряжаться, торговать, наживаться и лицемерно называть искалеченных и изувеченных против своей воли людей — героями. И вместе с тем я чувствую, я вижу необходимость великого очищения мира. Человек увяз в грехах и в грязи; высокое отлетело от земли, нет тоски о горнем мире, к нему все дороги забросаны нечистотами. Вместо природы — душные прокуренные кафе и тротуары заплеванные, покрытые окурками. Любовь — видение другого человека, другого я в осиянности, в Боге, откуда и счастье любви — заменилась физическим удовлетворением. Отвле-

ченные ценности философии, религии, долг нравственности — рождают только вопрос, и особенно у молодых — «а что это мне даст?»

И всё то, что не даст ничего видимого, не дает осязательной материальной пользы, — не для них. На всём фасаде человечества горит слово: выгода.

Может быть и есть где-нибудь праведники, но как их найти, и будут-ли их слушать?

Эти мысли набиваются в голову сами собой, а день вокруг так хорош.

Является желание побеседовать с каким-нибудь тихим и спокойным человеком о чём-нибудь простым и житейском — как, например, уничтожить на грядках сорную траву? — поговорить о моей работе, или просто помолчать с ним. Иное молчание стоит глубокомысленного разговора.

Желание исполняется. На дороге показывается знакомая женская фигура: это соседка; она еще не уехала и живет неподалеку за углом, налево. Подойдет или нет? Она поворачивает за угол и останавливается у калитки; открывает ее, идет по дорожке, как перышко, тонкая стройная, с громадным узлом золотых волос на затылке; соседка похожа на золотую стрелочку, неизвестно как и почему упавшую на землю. По своей профессии она — балерина; в городе у нея — балетная студия. Я её очень люблю за её строгое отношение к искусству.

— Здравствуйте, — говорит балерина, — я, может быть, помешала вам?

— Нисколько, — отвечаю, — я как раз думал: хорошо было-бы, если бы пришел кто-нибудь из приятных людей.

Она садится на траву около кресла, садится легко, как будто у нея нет веса. В руках у нея маленькая корзиночка, в корзиночке папиросы и спички.

— Я иду в лавку; зашла спросить, не надо-ли и вам чего — масла, или хлеба?

Я молчу и гляжу на нее. У нея прелестное имя —

Ирина. Из под легкого платья выставляются две маленькие ножки в красных туфельках с помпонами. Ходит она без чулок, а кожа на ногах серебристая, не загорелая. Я люблю её; во всех своих движениях, в фигуре, в повороте головы, она удивительно изысканно-аристократична. Не даром — балерина, и притом признающая в своем искусстве только классическое.

— О чём вы пишете?

Я объясняю, слушает она внимательно.

— А о чём вы думали? Я, когда шла, видела, что вы задумались; и сейчас у вас морщинки между бровями не исчезли.

Её лицо повернуто ко мне, глаза краями смотрят в мои; иногда они как-то тускнеют, а иногда загораются.

— О чём я думал? Об искусстве, о грехе человеческого, о необходимости очищения. Думаю о том, что толпа овладела техникой искусства и понаделала много вещей, похожих на искусство, но которые совсем не искусство...

И мысли, бродившие в голове, выливаются свободно, сами собою приходят нужные слова.

Ирина берет тетрадку, упавшую на землю, бережно разворачивает её, внимательно разглядывает мой невозможный почерк и обращается так с тетрадкой, как будто это Бог вещь какая драгоценность. Но я вижу, что она в то-же время внимательно слушает, не пропускает ни одного моего слова. Руки у неё худенькие, лицо очень усталое.

— Что с вами? — спрашиваю, — вы бы должны поправиться в деревне, а вид у вас утомленный.

— Меня сегодня ночью папа будил; надо было компресс переменить, потом валерианки дать, потом спрашивал — который час... Он не только больной, но и мнительный. Иногда ночью разбудит меня, я его перевязываю, а он говорит: «Вот умру, освобожу тебя»... Муж худеет, страдает зубами, я его прошу сходить к дантисту, а он не идет; говорю: — ведь плохо может

кончиться, а муж — ну, что-же, останешься молодой вдовой.

Я гляжу на золотой античный узел, на тонкую, худую шею, на хрупкие плечики, и приходят слова:

— И враги человеку — домашние его.

— Ира, дитя мое, — вырывается у меня, и тихо глажу эту низко опущенную голову по волосам.

От этой неожиданной ласки она поднимает голову и глядит на меня. И — нет больше усталого лица, оно ушло, а есть только глаза — громадные, блестящие, сияющие.

Понятно — слова о смерти, из уст двух самых близких ей людей, в ответ на ее заботы и беспокойство — большая обида.

Глаза снова тухнут, снова появляется усталое человеческое лицо. И она говорит:

— Кончается лето, скоро надо покинуть этот лес, это раздолье. А в городе — работа, и работа без конца. Зимой я встаю в половине седьмого, топлю шесть печей, компресс папе, варю ему кофе; потом муж уходит на работу, уборка квартиры, приходят ученицы; после уроков — на рынок; варю обед, кормлю моих мужчин, перемываю посуду, снова уроки, вечером опять кухня... И так каждый день, всю зиму. Только и отдыхаю летом, здесь в лесу. Развожу огород, копаю грядки, качаю воду, поливаю... Мой отдых — перемена работы.

Шустрый кузнечик в изумрудном сюртучке прыгает ей на колено, примащивается, заводит было песнь, но вдруг спохватывается и ускакивает.

— Мур-мур — серебряные ножки, — хочется мне её развеселить.

— Что вы говорите?

— Мур-мур, серебряные ножки, — повторяю.

— Что за мур-мур?

— Одна знакомая балерина: как придет, так и мурлыкает, как котенок, а ножки у нея серебряные.

Балерина закидывает голову назад и смеется веселым счастливым смехом: догадалась, кто это, и не скрывает, что ей приятно.

— Тише, — шепчу я и кладу руку ей на плечо; вблизи скачет, не торопясь, серый ушастый зай. Он большой, нескладный, худой-прехудой, — зай-горемыка. Не заметив людей, он сворачивает на маленькую дорожку и направляется к грядке, где растет салат. Зай постоянно посещает эту грядку, он — большой лакомка. Сорока, повисшая на кусте смородины, пугается, слетает, садится на верхушку сосны и начинает кричать, вероятно по адресу безобидного зая.

А ушастый зай, найдя местечко с салатом погуще, становится на задние лапки, оглядывается кругом и удостоверившись, что врагов ни летающих, ни ходящих, ни бегающих не видно, припадает к грядке, снова поднимается и снова уплетает салат.

Балерина следит за ним, не спуская глаз.

— Какой он милый!.. А других зверюшек у вас не водится?

— Тут у меня целое общество собирается под вечер — общество любителей помойки.

— Господи, как это интересно! А мне ведь надо еще в лавку бежать, — что-же они делают?

— Приходите к вечеру, увидите.

— Непременно, непременно.

Гостя как пружинка поднимается с травы; зай, увидев человеческую фигуру, со всех ног бросается в густые заросли вереска...

Ни зая, ни балерины, я — один. С минуту рассеянно слежу за фигурой в синем платье; фигура становится всё меньше и скрывается среди зеленых сосен. Солнце перешло уже за вторую половину дня, тени становятся длиннее, воздух прохладнее. По аллеям бегают какие-то птички; они ловят прытких кузнечиков и лохматых гусениц. Одна, поймав, уселась на

веточку тополя, и задумалась — закусить ею — слишком большая, пустить жалко.

Великий покой начинает разливаться по земле. Приятно пахнет нагретый вересек. На воротах сидит небольшой дятел и упрямо долбит доску. Долбит долго, безнадежно; устав, он отдыхает; отдохнув, снова принимается за работу.

И в этой тиши начинают откуда-то появляться мысли — не то они идут сверху, не то поднимаются с земли. Мысли — без формы, без образов; но они несут с собой веление, и этим велением наполняется все мое Я; охватывает желание — создать что-то большое, прекрасное, утешительное и чистое. Но во что оно воплотится — в книгу, в картину, статую, в ряд мыслей — неважно. Воплощение приходит само собой. И в том ограниченном пространстве, которое занимает мое тело, начинается что-то собираться, принимать осязательную форму. Эти минуты — самые большие; их нельзя вызвать, они приходят, когда хотят. И когда является уверенность, что то, что мысли принесли, останется, не забудется, я поднимаюсь готовить свой нехитрый обед. Мой обед молоко во всех видах — свежее, кислое, творог, сметана, масло — ну и хлеб, конечно, немного мяса...

Сидя на террасе, за столом, я смотрю в сад; а мысли бегают, Бог их знает где. Обед — вещь необходимая, но вот мытья посуды — не люблю. Вытирая тарелки, я вижу, как около калитки останавливается высокая женская фигура, открывает дверцу и быстрыми шагами идет на свое обычное место. Это — молодая женщина, по профессии учительница французского языка в местном лицее. Она рисует дом, где я живу. У нас условлено, что мы не мешаем друг другу. — она рисует, я пишу.

Ея темные, с медным отливом волосы повязаны голубым платочком; глаза, как черные сливы, а на смуглом лице лежат нежные блики. Ея настоящее

призвание — художество, а не учительство, ея картины — сама поэзия. Из бедной разваливающейся хибары у нея получается симфония красок, выступает та красота вещи, которую зрит только истинный художник.

Но теперь в искусстве — во всяком : литературе, живописи, балете — сидят очень часто люди, с искусством ничего общего не имеющие.

Художница кивает мне головой и идет к месту, откуда лучше всего виден домик, а за ним лес.

Покончив с посудой, я выношу кресло за крыльцо, где больше солнца, беру карандаш, тетрадь, записываю что приходит на ум, смотрю вокруг.

Небо безоблачно, синее; будет прекрасная ночь. Вдруг поражает мысль — почему одни люди боятся смерти, а других смерть не волнует. Со всех сторон заглядываю в эту загадку, и приходит решение: тому, кто не успел совершить всего, что ему назначено, смерть тяжка. Неиспользованные возможности, запечатанные таланты давят на сознание и жгут его. А кто успел сказать или сделать всё то, что было ему положено, того смерть не страшит. Так это, или нет? Не знаю. Я едва успеваю набрасывать, что возникает в голове, — этот маленький, пустынный уголок прямо волшебный. А внизу, под самыми мыслями, ощущается что-то твердое, хорошее, родное. В воздухе, в игре света и теней, между деревьями, кажется, реют близкие, дорогие...

Они невидимы, но они есть, они в общении со мной а я с ними. Перед ними раскрываются душа и сердце, они нашептывают удивительные слова, ведут безмолвные разговоры.

Слышу, как щелкает складной стулик: художница уходит домой. Ея высокая фигура облита солнечным золотом, на ходу она дружески машет рукой. Отвечаю тем-же.

Маленькая, маленькая страна Эстония, но как тут

приятно жить! Эта земля — осколок России; тут ближе как-будто к небу, к высокому и чистому, как было когда-то в России. Тут бездна поэзии; северная природа, глубокая, несказанная красота ея — нежная, неуловимая, неотразимая. Здесь всякое время года имеет свое большое очарование. А особенно прелестна золотая осень, когда люди ходят по грибы: багряная осина, золотые березы и липы, красная рябина — и великая настороженность всей природы. Шуршат под погами листья; грибы и грибочки — красные, коричневые, золотистые — прячутся под осенним ковром; найти их — радость. Но грибы, ведь, только предлог; на самом деле люди стремятся уйти с головой в осеннюю красу, забыв и отложив всякое «житейское попечение».

— А вот и я, — вдруг выскакивает из-за угла тихо подкрававшаяся балерина, — я на вас давно смотрела. Вы сначала сосной заинтересовались, потом в небо глядели, потом карандашем нос почесывали... А где-же ваш зверинец?

— Подождите, подождите, сначала присядьте, поговорим, а затем и зверьки появятся.

Ирина садится на колченогую скамейку, смотрит вокруг, на сосны, на сарай, на трубу, наконец останавливается на мне.

— Расскажите, что за народ французы?

— Французы? Я вам скажу, что если-бы французам дать наши качества, а нам французские — то получилось-бы нечто близкое к совершенству.

— Но всё-таки тяжело на чужбине?

— Тяжело. Надо иметь большую удачу, большую волю, много работать, чтобы не опуститься на дно. Париж — самый страшный вид пустыни: людей много, а близкого — никого. Причина этой разъединенности — отсутствие интереса к другим людям, любовного отношения к человеку, той духовной поэзии, которой

были проникнуты так часто мы, русские. Западные нации на нас не похожи.

— В чём-же разница?

— Разница? — Я гляжу на золотые волосы собеседницы и говорю: — у русского человека бывают не только золотые волосы но и золотая сердцевина. Мне, как каждому из нас, много пришлось видеть людей, которые когда-то были обеспечены, даже богаты, и у которых ничего не осталось. Нищета, бедность; сколько питаются подаванием, умирают от лишений, и вот что удивительно: злобы у них нет. Как у Иова — Бог дал, Бог взял. Работают, трудятся, хватаются за всё, чтобы как-нибудь прожить, но у всех только одна мысль: о России. Лишь бы она осталась целой, великой. Перед этим исчезает личное горе, в этом сходятся все.

— Я это понимаю, — после молчания заговорила Ирина, — как вы знаете, я выросла в богатой семье. Прожила в России самые тяжелые годы гражданской войны и коммунизма. Мой отец за свою работу получил 100.000 золотых рублей... А в Москве я ходила в дырявых валенках, куда для теплоты напихивала соломы; подошвы отставали, я их подвязывала веревочкой. В комнате нас жило девять человек, спали на полу; и с нами мать с грудным ребенком. Потом набралось еще больше, тогда хозяин нам отказал. Я ушла первая; поселилась у рабочего, у которого было восемь человек детей; дети — больные, золотушные, в лишаих и парше; я их мыла, перевязывала, чистила, ухаживала за ними, как могла. А ночью часто стучали в дверь, вламывались милиционеры и при нас всех принимались считать и делить награбленное — кольца, брошки, часы, браслеты...

Я слушал и глядел на рассказчицу. Лицо ее стало строгим; рассказывала она страшные, невероятные вещи, от которых у меня холодело внутри. Ей случилось бывать в таких положениях, где казалось, не было выхода, и всё-таки она, живая, сидела передо мной.

Что-то хранило её, такую слабую на вид и такую сильную на самом деле.

— Я работала, как сестра милосердия, в Петрограде. А родные ушли на юг. Захотелось мне повидать своих, так захотелось, что я не могла не поехать... Ехала я 31 день через красные, зеленые, белые фронты. Около Царицына красные сказали, что я могу сесть в поезд, который шел на юг. Помогли мне втащить вещи в теплушку, в ней было темно. Стою я, приглядываюсь, спрашиваю, где можно присесть; вдруг от стенки подходит ко мне на костылях раненый, коммунист или красноармеец, и с ненавистью говорит: — Ты, сестрица, не наша, ты аристократка, буржуйка, ты едешь к Деникину... И другие, что были в теплушке, чувствую, на меня также уставились. Холодно стало, чую — смерть за плечами стоит. Что делать, что сказать? И вот-же нашла; спрашиваю — а почему ты, товарищ, знаешь, что я буржуйка и аристократка?.. — У тебя вид такой и балакаешь не по нашему... И тут я ему прямо: ты, товарищ, умный человек, ты не ошибся, я на самом деле аристократка и буржуйка... Но сядем и поговорим.. Сели и поговорили — а через полчаса мы уже были друзьями ... Раненых перевязала, напоила, облегчила, как только могла... Они во мне человека увидели, и в них проснулся человек. А когда я расставалась с ними, этот, на костылях, со слезами говорил мне: — сестрица, если-бы все были такие, как ты, — не было-бы ни войн, ни революций... Спасибо тебе!.. И ни за какое золото в мире я не отдам того, что испытала и пережила в этой теплушке. Зато когда я, наконец, приехала за границу к родным, я была похожа на семидесятилетнюю старуху; вся в морщинах, сгорбленная, а как одета была — лучше и не говорить.

— Сколько-же вам тогда было лет?

— Семнадцать. Отец, как увидел меня, остановился и ни с места — вижу, плачет... Пережила революцию, всякие лишения, беды, холод, голод, увидела, как

другие живут в нищете, — и теперь я бы уже не могла поселиться в богатом доме, мне было бы совестно. Несмотря на всё, я осталась сама собой, сама сейчас зарабатываю на жизнь и горжусь этим; искусству своему служу честно, и не унижаю его. Сколько раз бывало, приходит девица и заявляет, что хочет учиться танцевать. — А для чего вам это собственно? — Да, чтобы выступать в кабаре. — Ну, для этого и учиться не стоит, достаточно смазливой наружности, да немного смелости.

Гостья замолчала, молчал и я; мне стало ясно, почему она выходила невредимой из опасных положений: она обладала даром найти и разбудить лучшее, что есть в другом человеке; это давало ей непобедимое мужество и вызывало к ней симпатии даже со стороны классовых врагов.

Наше молчание было прервано шелестом в сухой траве. Высокие былинки раздались, и на край газона вышел серо-желтый ежик. Вытянув острую темную мордочку, он повел носом, внимательно поглядел на нас, ковырнул лапкой землю и ничего не найдя направился дальше.

Осторожно ступая, мы следили за ним. Колючий гость не торопясь шел вперед, обнюхивая землю, иногда останавливаясь, прислушиваясь...

— Куда это он? — захватило от восхищения дух у балерины

— Он знает... Увидите сами...

Ежик подошел к компостной куче, помойке — то-ж, и не без труда взобрался наверх, где его ожидало блюдечко с молоком, обрезки сыра, косточки и прочие лакомства. Опершись передними лапками на блюдечко, ёжик принялся за молоко. Вылизав посудину, он взобрался на нее всеми четырьмя лапами и принялся за остальное. Он ел, тщательно пережевывал каждый кусочек, и уже ни на что не обращал внимания. Сороки, заметив ежа, слетелись на ближайшую сосенку, оглу-

шительно брани, перекачиваясь спереди назад. А ёжик даже не взглянул на них. Наевшись и погревшись на солнышке, он скатился с кучи и зашелестел среди вереска. Сороки бросились на остатки.

Около колодца, шипя не то от злости, не то от страха, пробежала рыжая белочка, вскочила на сосну и уставилась на нас черными выпуклыми глазками. А затем, вздыбив пышный хвост, фукнула и пропала где-то среди сучьев.

— Тут стояла трагическая бочка, — показал я на белый круг, оставшийся на земле от днища; один раз я нашел в ней утонувшую маленькую птичку, потом дятла, затем белочку...

Балерина остановилась и с укором поглядела на меня.

— Почему-же среди жителей вашего сада появилась такая эпидемия самоубийств? В чём была ваша вина?

— Моя вина заключалась в том, что иногда бочка была наполнена только на три четверти, я не знал, что звери приходили сюда пить. В бочку попадут, а из бочки не выбраться.

— Бедные, жалко зверюшек, — вздохнула она — ну, а теперь пора домой. Спокойной ночи.

И вся облитая заходящим солнцем, легким шагом она направилась к выходу. Я сел в свое кресло и думал долго о госте, о художнице, о том, почему в маленькой Эстонии у нас незаметно образовался круг близких, искренних знакомых. Не потому-ли, что здесь еще в людях осталась нетронутой та золотая сердцевина, которая так ценилась в России?

Между деревьями протянулись, как раскаленные стрелы, красные лучи; облако, стоявшее на западе, нежно серое снизу, с солнечной стороны словно подбито малиновым бархатом. В воздухе проносились прохладные струи. Серая, длиннохвостая птичка про-

бежала по дорожке и, удивившись моему присутствию, с писком улетела, сообщая кому-то, что я еще сижу.

Пора было уходить. Взглянув еще раз на кроваво-красный закат, я пошел в дом. Из мезонина еще яснее было видно, как полнеба охватило кровавое пламя. Кровь была всюду — на земле, в небе, на деревьях, в воздухе, отражалась в стеклах, прилипала к стенам, струилась по траве.

Я не помню, когда еще мне приходилось видеть такой закат. Но нет ничего на свете неподвижного: краски стали темнеть, тускнеть, показались серые тени: запад потухал. Закрыв ставни, я зажег лампу с намерением кому-то о чём-то написать.

Не писалось. Где-то царапался жук, потрескивало ссыхаясь дерево; в стене, словно карманные часы, тикало скребясь какое-то насекомое. Неясные шорохи, тихие шумы, отвлекали внимание. Я глянул на маленький огонек лампы и думал, почему днем ухо не слышит того, что слышит оно ночью. И почему ночная жизнь кажется такой таинственной, жуткою? Может-ли побороть человек эту жуть перед космическим началом, особенно ясно ощущаемую в одиночестве и во мраке? Может-ли изгнать страх перед стихиями, перед вечным, перед неизвестным. И космос с его силами встал перед сознанием, как непоколебимая действительность — беспредельный, грозный, непостижимый... Его нельзя отринуть, обойти, а, чтобы жить, надо непременно его победить. После слепого блуждания, стояния в тупике, вдруг без всякого усилия, свободно и легко открылось само собой. Когда человек становится лицом к лицу с Тем, Кому подчинено всё, тогда исчезает всякая жуть, всякий страх... Стало очевидным — Он должен быть, Он есть.

Высокий покой и утешение сошли на душу. Захотелось выйти на воздух. Потушив лампу, ощупью, в потемках, я пробрался на крыльцо и присел на ступеньку.

Сразу со всех сторон обступила меня необъятная звездная ночь. Чуть виднелись в саду темные пятна кустов и деревьев, а вверх — на бесдонном небе держали совет звёзды. Всё спало. Ни шороха, ни шелеста... Великая, ненарушимая тишина. И в ней небо слушало, что делается на земле, а земля — что происходит на небе. Земная тайна сливалась с небесной. Звёзды медленно поднимались ввысь, радостно и бесшумно блистали в недостижимых пространствах, возвещая земле о происходящем у них торжестве света и мировой гармонии.

Неожиданно послышались отдаленные быстрые шаги; кто-то шел торопливой походкой, чуть скрипя попадавшими под ногу камешками. Я подумал о балерине — даже она чем-то, должно быть, встревожена. Шаги приблизились, осановились у калитки. Я притаился. Захрустел песок на аллейке, и с разбега она наткнулась на крыльцо.

— Кто это? — испугалась она. — А я к вам, с важными известиями.

— Сначала сядьте, а затем и расскажете.

Присев ни нижнюю ступеньку, Ирина сразу начала:

— С вечерним поездом приехал муж с газетами. Папа их прочел и говорит: надо предупредить нашего соседа — положение очень серьезное, и ему лучше скорее уезжать. И муж тоже говорит — война неминуема.

Мы молчали. Мне не хотелось представить себе, чем могла грозить эта война и мне, и другим. Будет еще время подумать обо всём.

Ночь стала как будто светлее. Звёзды горели ярче, и яснее была видна тонкая фигура, закутанная в теплую шаль. Смутно белевшее лицо было устремлено к небу.

А там, под самыми звёздами, летали бесплотные тени. Заслонив на миг созвездие, тени бесследно исчезали, а созвездья принимались гореть еще ярче. Совершенно неизвестному и такому знакомому, бесконечно далекому и бесконечно близкому сердце пело Осанну. И не было жути перед темными мировыми силами, над ними царила Высшая воля, Высшая власть.

— Милый Мур-мур, о чём вы задумались? — прервал я наше молчание.

— Я глядела в эту искристую ночь и пела про себя — Слава в Вышних Богу... Но будет-ли на земле мир?.. А теперь я пойду домой, — поднялась она.

Проводив гостью до её калитки, я вернулся; в комнатах от закрытых ставен было темно; зажегши свечу, я присел за стол, перед открытой тетрадью. Смутно ощущалось, что грядущая война имеет более глубокие корни и будет иметь более важные последствия, чем все предыдущие.

В этой самой комнате, за тем-же столом, где я сидел, сколько было сделано, сколько передумано. Работая, я глядел часто в темное сейчас окно. Бывали дни солнечные, были дождливые; отсюда я видел, как из-за леса надвигались низкие серые страшные тучи, перевитые сверкавшими молниями. Северные грозы — ужасные. А особенно жутко, когда гроза приходит ночью, когда за каждым близким ударом невольно думаешь — Господи, пронеси.

И всё, что было тут сделано, передумано, пережито, оставалось здесь-же, в этих стенах. Мне хотелось, чтобы моя работа имела успех, но для успеха, для приманки я никогда не сворачивал с прямой, по моему крайнему разумению, дороги. Я очень далек от совершенства, но в свою работу я не пропускал лукавых мыслей, не потакал неправде.

И безмерно дороги стали мне эти комнаты и весь маленький, скромный домик.

А самый близкий мне в свете человек, который навсегда связал свою жизнь с моей, жил и работал в комнате рядом. Его здесь нет, он далеко, но дух его здесь. Мы так срослись духовно, что разделить нас уже невозможно. Его уголок с обоями небесного цвета — символ его высокой и чистой души. И сидя каждый за своим столом, мы делали каждый свое дело в меру сил своих и способностей.

ГЛАВА II

ВОДОВОРОТ

Прошло несколько дней. Беспокойство в мире только усиливалось. Кто-то к кому-то ездит, кто-то кого-то уговаривает, кто-то кому-то грозит, пишутся ноты, ответы, передвижения войск, мобилизация.

В день отъезда из дому я проснулся рано. Солнце еще не взошло, но розовая заря сияла на востоке. Неожиданно раздался сильный стук на крыше. Словно пытались её разбить молотком. Я уже знал, чьи это штуки и, накинув пальто, выскочил на двор: на крыше — никого; я обошел дом кругом — ничего. Только отойдя на некоторое расстояние, я увидел как из трубы высунулся длинный клюв... Старый приятель... Найдя камешек, я бросил его на крышу; затарахтев, он покатился вниз, и в тот-же миг из трубы выле-

тел большой, зеленый, весь в саже, дятел; с насмешливым криком он полетел к лесу.

Этот дятел — одно несчастье; всё лето его не видно и не слышно, а как осень — является, залезает в трубу и долбит её. Делает он это только утром, когда я еще сплю.

Было очень свежо. На траве нитями жемчуга лежала осенняя паутина, нагруженная тяжелыми каплями искрившейся росы. Две сороки скакали у колодца; сибирский шиповник, росший у крыльца, выпустил темно-алый полураскрывшийся бутон. На молодой яблоне висело несколько розовых яблок. Рядом с шиповником кустик жасмина уже готовился к зиме: листочки его ссохлись, попадали, сучки пожелтели. А летом он весь был покрыт белыми полными душистыми цветами; они походили на слепившиеся вместе снежинки, и было их так много, что весь кустик казался, словно после сильной метели занесенным снегом.

И всё, на что я ни глядел, было мило и дорого.

Умываюсь на дворе; вода свежая, и от этой свежести тело и настроение делаются бодрыми. Пью свою обычную порцию молока с хлебом, закусываю яблоками и одеваюсь в дорогу; закрываю ставни, беру чемоданчик, запираю, что нужно запереть. Вещи уже отправлены в город, всё убрано, всё готово к отъезду.

По старинному присаживаюсь перед дорогой.

Шесть блаженных лет провели мы тут с женой. Здесь мы отдыхали душой и телом, чувствовали себя в земном раю, упивались лесным воздухом, работали, купались, катались на лодке и в уединении набирались сил для долгой, утомительной зимы в Париже. И теперь, покидая может быть навсегда этот уголок, я почувствовал, как сжился я с этими местами, со здешними людьми, с этой удивительной, полной тихого очарования, северной природой. Чувство благодарности и глубокое волнение наполнили сердце. Что-бы ни случилось, но то, что тут было пережито,

навсегда останется в душе, как самое лучшее, никогда забываемое... И поручив домик и сад охране добрых сил, я отправился на вокзал. По дороге встретилась чета Дексеевых. он — ехал на службу, она — в лицей. Поздоровались. Ни слова не говоря, Дексеев завладел моим чемоданчиком.

— Вам тяжело, а я иду порожняком.

Про него жена говорила, что он не может видеть человека, несущего что-нибудь тяжелое; всегда отнимет. Пошли вместе разговаривая о текущих событиях. Итти с ними было приятно. Эта чета представляла собой редкое явление — полную свободу и гармонию взаимных отношений. Не то, чтобы какая-то исключительная любовь, но они глубоко видели друг друга, без слов угадывали настроения, мысли, намерения один другого, и каждый готов был до конца разделить тяжесть, выпавшую на долю другого. Это не мешало им подчас пикироваться, муж не пропускал случая подразнить жену за какую-нибудь ошибку — и всё же оба они были полны тем счастьем, что дает только глубокая взаимная привязанность.

С жены это счастье прямо капало, а муж скрывал свое чувство под доброй усмешкой и говорил смешное.

Их взаимная привязанность не закрывала от них остального мира: окружающие их люди, природа были источником для них постоянного интереса. Внимательные и заботливые друг к другу, они были внимательны и к остальным. И это выходило у них мило, свободно, само собой. Их услуга, их заботы принимались без мысли, что им непременно надо чем-то отплатить. Так вышло и теперь, я отдал ему чемодан без особого сопротивления.

— Стоп! Наша Ирочка летит, — обернулся Дексеев. С ней у нас составитя настоящий квартет.

По дорожке бегом догоняла нас Ирина Михайловна. В руках она несла чемоданчик и бумажные свертки с овощами.

— Здравствуйте, честная компания! Я бегу, кричу, никто не слышит... Уронила свеклу, стала поднимать — уронила морковь, подняла морковь, — позабыла чемоданчик... Не хочу расстраивать человеческого счастья и беру под руку кавалера, что идет порожняком...

И с разбега она ухватилась за мой рукав.

— Кавалер задумчивого образа мыслей, подержите, пожалуйста, пока мою свеклу; за это я вам сварю такой борщ, что вы его и в Париже вспоминать будете.

— Будет-ли он вспоминать ваш борщ — неизвестно, а что вы его как в клещи взяли — этого он уж не забудет, — заметила Дексеева.

— Это в вас ревность говорит, Юличка Митрофановна; вот клянусь морковью и свеклой, ваш муж меня совсем не интересуется.

— Что ни слово, то обида, — пожаловался Дексеев.

— Господа, и кто-бы сказал, что мы все уже давно вышли из молодости.

Пришли на вокзал в ту минуту, когда поезд показался из-за леса. Поднимая пыль, промчался мимо нас паровоз; толкаясь и скрипя буферами, вагоны замедлили ход и остановились, подымая тучу пыли. Все бросились занимать места, и через минуту мы ехали в Ревель.

На второй остановке Дексеев купил на станции газету и передал её жене, так как из нашего квартета только она знала по-эстонски.

Черные громадные буквы на первой странице говорили, что в мире что-то случилось. Дексеева пробежала несколько строк и изменившимся голосом сказала:

— Англия и Франция объявили войну Германии.

* * *

Человеческие силы — имеют предел. Мне это показал мой собственный опыт. Великая война, ранения,

Операции, плен, голод, гражданская война, более страшная чем всякая другая, грязь, насекомые истощили мои телесные и душевные силы. Истинное чудо и особая милость свыше, что я остался в живых и не сошел с ума. И вот опять война, опять начиналось то-же самое. Дикую, страшную ненависть почувствовал я к тем, кто снова решил воевать, кому совесть позволила бросить на гибель миллионы людей. Если в прошлых войнах, был солдат и офицер, в этой войне на первое место становились слесаря, механики, кузнецы, авиаторы, бомбометатели, отравители газами. Сам собою возникал в моем сознании вопрос : что если в скором времени человечество, ведомое на войну, заупрямится и скажет правителям: «На каком основании вы нас гоните на убийство, на смерть? Мы хотим жить. Вы не умеете править. Вы — низкие каналы и лжецы. Пошли вон!»

Но то было «пленный мысли раздражение». Какое дело земным владыкам до маленьких, думающих только о покое, больных истрадавших людей? Такие люди владыкам не опасны.

* * *

По приезде в Ревель, надо было позаботиться прежде всего о комнате. Сколько придется прожить в городе, я не знал — неделю, две, месяц...

Надо было ловить первую возможность уехать во Францию, а когда представится эта возможность — никто, конечно, не мог сказать.

И с вокзала, я направился с чемоданчиком к Горбачевым. Семья их — он, она, два сына студента и один малыш — 7-8 лет. Я им чужой, но принимают они меня как своего. С ними и у них — легко.

Люди с достатком, они делятся им с другими. Я только боялся, что не застаю их, но к счастью оба были дома — приехали с дачи на базар за покупками. Их большая квартира была на дачном положении: люстры

затянуты кисией; мебель в чехлах, этажерки закрыты газетами.

Открыл дверь мне муж, Михаил Васильевич.

— А вот и вы... Знаете уже? — спросил он.

— Знаю. Пришел просить у вас приюта. Хочу поймать случай отправиться во Францию, а для этого надо быть в городе.

— Конечно, конечно. Располагайтесь у нас, где хотите — в кабинете на диване, или в спальне на кровати.

Прибежавшая из кухни Серафима Александровна даже обрадовалась моему вселению.

— Голубчик, места у нас много, мы на даче, никого не стесните. Живите, сколько придется. Ванна к вашим услугам, когда захотите принять... Какие-же ваши планы?

— Ничего еще не знаю. Пойду сейчас на разведки, первым делом в туристическое бюро.

Я простился и вышел.

На улице у всех прохожих были в руках газеты. Одни читали и перечитывали первую страницу, словно не веря, что война объявлена, другие, уже прочтя и сложив газету, рассеянно глядели на стены, на встречаемых, как-бы соображая — что-же надо теперь делать?

Но на базаре торговля шла и теперь, как всегда. В рыбном ряду по прежнему пахло свежими копчушками, угрями; в ящиках со льдом лежали грудками леги, окуни, щуки... В свинном ряду тоже было великое изобилие копченой, вареной и сырой ветчины, всевозможных колбас. На прилавках белели груды творога, в больших мокитрах — густая сметана. На возах громоздились мешки с картофелем, свеклой, капустой... А над всем базаром носился тонкий аромат яблок. Всего было много, всего — в изобилии. Радостно было глядеть на эти богатые плоды мирного времени и свободного человеческого труда.

Противоестественным, несогласным с Божеским за-

коном, казалось, что где-то люди могут нуждаться в пище, умирать с голоду, что всё это изобилие может исчезнуть, как дым. И однако это была правда. Пример — голодающая после войны и революции Россия, в мирное время самая, может быть, изобильная страна на свете.

В туристическом бюро толпились с растерянными и озабоченными лицами люди всяких национальностей. Говорили по-немецки, по-шведски, по-английски, по-французски. Служащие, склонившись над картами, изучали новые маршруты: старые пути были закрыты, надо было ехать по другим дорогам.

Белокурая дама, к которой я уже раньше обращался за разными справками и разъяснениями, кивнула мне головой:

— Вам во Францию? Билет до Парижа мы можем вам выдать через Германию и Бельгию, но Германия воюет с Польшей; ходят-ли поезда через польский коридор — неизвестно.

— Что же мне делать? Как выехать?

— Остается морской путь — через Финляндию или Швецию в Бельгию. Если будет какой-нибудь пароход из Стокгольма или Гельсингфорса, мы сможем по телефону взять для вас место. Загляните сюда дня через два-три.

Я вышел из бюро, не зная, что делать, и направился за советом к знакомому эстонцу, занимавшему в финансовом мире большое положение. Застал его к счастью дома и объяснил ему свое положение.

— Теперь никто ничего не знает. Подождите несколько дней, — посоветовал он. — Корабли, которые ушли в море день-два тому назад, получили по радио распоряжение вернуться обратно. Мы знаем только одно: нам нужно остаться нейтральными, и больше всего хотим этого. Сходите в экспортную компанию, поговорите с директором.

Но и там мне ничего не могли сказать утешитель-

ного. Были готовы грузовые пароходы в Германию и Англию, но когда они отправятся — никто не знал.

Вернулся к себе. Горбачев сидел за письменным столом и рассеянно просматривал какие-то счета и бумаги.

Я рассказал ему о своих неудачных похождениях.

— Подождите, я сейчас протелефонирую в паровозную контору. Заведующий ею — дельный человек, может быть он что-нибудь придумает.

И Михаил Васильевич долго с кем-то говорил по телефону по-эстонски.

Наконец он сообщил, что лучше будет, если я сам зайду в контору и объясню свое дело лично.

До конторы было минут десять-пятнадцать ходьбы. Принял меня заведующий — человек с энергичным выражением лица. Выслушав меня, он подумал и сказал:

— Сообщение с Англией и нейтральными странами, конечно, наладится, пароходы начнут ходить. Когда мне будет что-нибудь известно, я вас извещу — и он записал мой адрес и номер телефона.

— Только в виду вашего нансеновского паспорта, запаситесь поскорей визами. Вдруг представится случай в ближайшие дни.

Я много раз ездил за-границу и знал, что такое виза для нансениста. Всем остальным людям въездные и проездные визы даются по предъявлении паспорта, и чем культурнее государство, тем меньше берут обыкновенно за визу.

Но беда, если человек имеет нансеновский паспорт, показывающий что владелец его не имеет родины, так как не мог ужиться с большевиками.

На другой день начались хождения по визам. Бельгийскую визу я получил без труда; то-есть получить её было трудно, но все труды взял на себя бельгийский консул; благодаря его заступничеству, виза была мне разрешена еще раньше. В те дни, когда людьми с нансеновскими паспортами никто не интересовался, предо-

ставляя их на произвол судьбы, он вошел в мое положение; и хотя был приказ — никому не давать даже проездной визы, он написал горячее убедительное письмо в соответствующее место, и виза была дана сроком на один месяц. Теперь мне нужны были на всякий случай финская и шведская визы.

В финском консульстве, когда я пришел, было несколько человек. Шведы, эстонцы, латыши, литовцы, норвежцы. Штемпель так и мелькал в руке служащей, отпечатывая текст визы на чистых страницах разного формата и цвета паспортов.

Я присел на стул, ожидая пока не уйдут все, и оглядел приемную; она была чиста и опрятна до последней степени, отделана карельской березой; бумаги, журналы лежали на полках и этажерках в таком порядке, что страшно было его нарушить. Наконец все ушли.

Я подошел к служащей, стукавшей штемпелем; на мое счастье она говорила по-русски. Выслушав меня, она развела руками:

— Мы виз русским нансенистам не даем. Последовал длинный, мучительный разговор.

— Мы можем, — наконец согласилась она, — написать в Гельсингфорс с просьбой визы для вас. Пока бумага придет туда, да её разберут, да наведут справки и пришлют обратно, может пройти неделя, а может быть и две.

— А если в это время будет пароход в Бельгию? Служащая пожала плечами.

— Хотите, я запрошу по телеграфу?

— Телеграфируйте.

— Это будет стоить пять крон.

Я заплатил и ушел. В шведском консульстве в визе отказали, но предложили телеграфировать о ея разрешении в Стокгольм: пятнадцать крон. Заплатил и ушел — что мне оставалось делать?

Могло случиться еще так: какой-нибудь пароход отправляется в Бельгию, Англию или во Францию.

Но по дороге он получает телеграмму вернуться обратно. Пароход возвращается. Но без эстонской визы меня, как нансениста, на берег не пустят. Гражданину какого-нибудь Сан Доминго, Венецуэлы и других экзотических государств могут разрешить сойти на берег без визы, но мне — русскому нансенисту — не разрешат. И потому, самое благоразумное было иметь также обратную эстонскую визу. К счастью там, где выдавали эти визы, отнеслись по человечески; обратную визу, действительную по четырнадцатое декабря я получил без замедления: цена пятнадцать крон.

Поездка в Бельгию могла быть также сопряжена с пересадкой в Голландии или Дании; но чтобы сойти с одного парохода и только пересестъ на другой — необходимы визы.

Можно найти пароход, идущий прямо в Англию; но чтобы высадиться в Англии и пересестъ на пароход во Францию, необходима английская виза.

Словом виз надо было иметь чортову дюжину.

Вор, отсидевший в тюрьме, каторжник, отбывший свое наказание, убийца, насильник, разные темные и подозрительные личности имели, не будучи эмигрантами, такие преимущества, о которых я не смел и мечтать; я — не совершивший еще никакого преступления, не содеявший пока ни одного убийства, ничего еще не укравший. Говорю — пока и еще — так как жестокая безчеловечность, несправедливость и холодный эгоизм могут довести человека Бог знает до чего, пробудить ненависть к тому порядку, где равнодушными глазами глядят на гибель человека...

По дороге в английское консульство я встретил такого же горемыку, как и я; узнал я собрата по паспорту — он шел и печально разглядывал такой знакомый всем русским эмигрантам документ. Общая доля людей сближает и, подойдя к нему, я прямо спросил, как его дела.

— Из английского консульства, — ответил он, —

сам я живу в Швейцарии, — хотел туда проехать через Англию и Францию. Визы мне не дали. Отказавшему мне англичанину сказал, что, как русский эмигрант, я был до последнего верен союзникам и общему делу; что мы всё потеряли только потому, что не изменили своему слову, что союзники многим и многим обязаны России. Почему же теперь тем, кто доказал свою верность, не хотят дать даже проездной визы? Позволит ли ему совесть отказать мне в такой трудный момент и тем, может быть, обречь меня на гибель? — Совесть ему позволила.

Нансенист замолчал. Но его лицо выражало сильное волнение.

— Что-же нам остается делать?

— Погибать, а если не погибнем, воспитать в себе и передать молодому поколению непримиримую ненависть к жестокости, лицемерию, бесчеловечности, эгоизму и уничтожать их, в чём-бы они ни воплощались. Или-же перейти к большевикам и мстить нашим союзникам, где и как только возможно, чтобы они пережили те-же лишения и унижения, через которые прошли мы, чтобы они у нас, как милости, просили-бы приюта и защиты...

Вечером я долго не спал и вертелся беспокойно на кровати. Я был полон злобы, мести, отчаяния, ужаса, вспоминал расстроенное лицо собрата по несчастью и не знал, что еще надо и можно сделать.

Как я заснул — не помню.

На утро в коридоре встретился с француженкой учительницей.

— Вы знаете, — остановила она меня, — Бельгия не хочет воевать, monsieur. Не хочет воевать, — и всплеснула руками.

Я хотел-было спросить, почему Бельгия должна воевать, если она не хочет, но не спросил: для француженки было ясно без всяких доказательств, что Бель-

гия обязана воевать и, если она уклоняется от войны, то это почти-что измена.

Но этот милый, наивный эгоизм не мешал ей трогательно заботиться обо мне. Каждое утро, когда я вставал, меня уже ждал чай. Собственно мне было не до еды и не до питья; и видя, как я мало ем, она убеждала:

— Но надо есть, надо непременно есть, а то вы ослабеете. И что скажет ваша жена, если вы приедете похudevшим?

В эти дни газеты брались на расхват. Утром, если не надо было бежать в какое-нибудь консульство, я шел к своим эстонским друзьям узнать газетные новости и послушать радио.

Новостей каждый день было много, и среди них немало лживых, которые опровергались на следующий день, или даже вечером того-же дня. Из таких ложных новостей запомнилась одна: телеграмма о налете тридцати польских аэропланов на Берлин. Но одно было несомненно — немцы стремительно продвигались по Польше; польская армия таяла и отступала.

Однажды посчастливилось поймать речь Гитлера. От нея я пришел в великое смущение. То была не человеческая речь, а крик одержимого, идущего на всё, на все риски, не щадящего ни своей жизни, ни жизни других. Столько фанатизма, столько готовности пожертвовать собой во имя сильной и могущественной Германии было в тоне голоса, что он заражал этим своих слушателей, они его прерывали аплодисментами, и я уверен, что в эту минуту они были готовы идти в огонь и в воду за родину и своего фюрера.

Варшава на это отвечала бравурными маршами. Только как-то под вечер удалось поймать виленскую станцию; говорило много ораторов; но их речи были скорее обращены к прошлому: к Пилсудскому, его заветам, оставшимся ученикам, таким-же гениальным и непобедимым, как он; выражалась готовность умереть. Но по сравнению с немецкими речами, у поляков не чувство-

Валось непреклонности; скорее ощущалась некоторая неуверенность и даже робость. Но эта робость не удивляла: немцы — грозный враг, храбрый. Трудно сказать, какая армия может им, при всех равных условиях, противостоять в открытом бою, может быть только русская. Мне как-то случилось проездом через Германию разговориться с бывшим гвардейским офицером кавалеристом.

Выехал я из Дрездена в Берлин с очень ранним поездом. Пассажиров было мало, да и те, которые были, легли досыпать. А я в своем купэ оказался совершенно один. На одной из небольших станций вошел высокий, тонкий, с сильной проседью человек, вежливо приподнял шляпу и поместился в углу купэ. В петличке у него мелькнули миниатюрные знаки боевых орденов. Новый пассажир произвел на меня впечатление человека из аристократической среды, вероятно очень обедневшего после войны. Уже старый, лоснившийся костюм был сшит хорошим портным.

Сняв пальто и шляпу, он развернул газету и, словно забыв о ней, стал смотреть в окно. Я не помню, как мы разговорились. Оказалось, что он участвовал в боях в те самые дни, когда я был взят в плен. Он бывал и на западном фронте и на русском.

Самым страшным ему всё-же показался русский фронт.

— Ваша пехота стреляла так метко, что мы не могли поднять головы. Ваша артиллерия после двух-трех залпов переходила на поражение. Часто ваши полки шли в атаку без артиллерийской подготовки и, если не погибали целиком, то врывались в наши окопы. Жалко было стрелять в таких храбрецов. Но больше всего удивляла меня русская кавалерия. Эскадронные командиры во главе своих эскадронов шли на верную смерть, как на парад. Сколько раз приходилось и отражать самому конные атаки, и наблюдать их. Русские офицеры падали и умирали, как настоящи.

герои. И это нельзя назвать бравурным презрением к опасности, к смерти; это было исполнение долга и приказа до самого конца, без хвастовства, без поддельного молодечества. Однажды мы захватили в плен раненого ротмистра; я спросил его, как он мог вести свой эскадрон под таким сильным пулеметным огнем, а он только сказал: — я ведь присягал. Нет, личный состав ваших войск был великолепен. Жертвенность и мужество русских изумительны. И для такой армии большая обида, что она не проводила собственных самостоятельных задач, а должна была постоянно кого-то спасать... Еще не подготовленная, она ворвалась в Восточную Пруссию, и бой под Гумбиненом — славный бой для нея. Я тоже там был. С западного фронта мы должны были взять несколько корпусов, чтобы отразить русских; благодаря этому французы выиграли Марну и приписали эту победу только себе. Мы-бы взяли Верден, но русские сделали наступление на озере Нароч, и положили там восемьдесят тысяч солдат. Немецкое командование должно было снять с верденского фронта двадцать шесть дивизий, и мы проиграли Верден. Спасая итальянскую армию, Брусилов должен был раньше времени перейти в наступление, и итальянцы были спасены. Если у вас были поражения, то были и великие победы. Продвижение в Малой Азии, взятие Эрзерума, Перемышля, галицийские бои, спасение Франции — вам есть чем гордиться по праву. Но русская армия имеет один большой недостаток — скромность.

— А на западном фронте как было?

— Артиллерийская пальба, главным образом... Когда начиналась канонада, все уходило в убежище, и за весь день иногда не было ни одного раненого.

— Всё-же, — заметил я, — напрасно вы нам дали большевизм. Если-бы Россия осталась сильной, и немцам, и русским было-бы теперь легче и лучше.

— Разве это зависело от нас, боевых офицеров?

Мы видели всю опасность большевизма и для нас, но что мы могли сделать? Решали высшие военачальники.

— Я думаю, что останься Россия прежней, она не позволила бы обездолить так Германию. В конце-концов русские и немцы нашли-бы какой-нибудь *modus vivendi*. *)

— Должны были-бы найти. Положение Германии трагическое. Теперь самые удобные места в мире заняты. И кто занял — не хочет пускать другого. Да возьмите Россию. Вы строили Петербург, а теперь захотят эстонцы и финляндцы и запрут Финский залив. А на Черном море, купят Турцию, и она может закрыть проливы; на востоке — захочет Англия и науськает на вас Японию.

О многом мы говорили, избегая всё-таки щекотливых мест.

— Я видел войну во всех ее видах — чувствовал себя иногда победителем, но пришлось увидеть и собственное поражение. И не знаю, что отвратительнее — захлебывающийся от радости победитель, или вид униженного, побежденного врага. То и другое омерзительно.

Я с удивлением слышал эти суждения от немецкого офицера. Хотел-было напомнить ему слова Бисмарка, пленным должны быть оставлены только глаза, чтобы они могли плакать, но воздержался, так как не был уверен, точно-ли было это сказано Бисмарком.

— Во всяком случае — быть побежденным в открытом бою, в поле, где всякий воин может обнаружить свои личные качества, не так еще тяжело, как быть побежденным деньгами, хитростью, голодом, изнурением, как победила нас Англия. Но ее час пробьет. В будущем — столкновение ее с Россией неизбежно. Она боится северного медведя. В гражданскую войну она как-будто помогала белым, а в самую решительную

*) Разговор происходил в период разрухи в Германии, задолго до прихода Гитлера.

минуту оставила их: она страшится сильной России, отказалась приютить вашего императора, до смерти оставшагося верным ея союзником, и обрекла его и его семью на гибель. Как можно это назвать?

Слово у меня было готово, но я промолчал. Этот разговор разбудил старые, не заживающие раны. Мне хотелось ему рассказать, как уничтожались дикой солдатской ордой лучшие русские люди, знатоки и специалисты военного дела, которых сами немцы называли талантливыми, и что это делалось по указанию их-же военных.

Но к чему было это говорить? Он всё-таки немец, а я русский; он болел своей немецкой болью, а я — русской. Вряд-ли, мы могли-бы понять друг друга.

И среди англичан есть люди с сердцем и совестью. Один из них воскликнул — «наша цивилизация построена на преступлении и крови...»

На одной из больших промежуточных станций мой компаньон слез; на прощание мы крепко, как старые вояки, потрясли друг другу руки.

Но встречи этой я не забывал: придется-ли еще когда-нибудь услышать от старого врага такой отзыв о русской армии?..

ГЛАВА III

МЫСЛИ РОЖДЕННЫЕ В ТРЕВОГЕ

В прошлую войну от меня многое ускользнуло: что писалось, что говорилось открыто и шопотом, я не знал: мобилизация забрала меня в первый день. Я был в той страшной массе людей, которых война оторвала сразу от всей прежней жизни. Надо было устроить личные дела, обмундироваться, ездить туда и сюда, пользуясь подходящими случаями — на паровозе, в роскошных салон-вагонах, на груде каких-то мешков, в товарных «сорок человек, 8 лошадей...» Некогда было читать и раздумывать. Чувство было одно — надо спасти Россию.

Со дня мобилизации прошло двадцать пять лет. Карта Европы стала иной; появились государства, которых не было раньше. Помятый, чудом спасшийся

от целого ряда смертельных опасностей, в эту новую войну я и мне подобные очутились пока что не у дел. В ожидании возможности уехать я с интересом и большим волнением прочитывал сообщения воюющих сторон. На Польшу напали. Польская армия терпела поражение за поражением. Тяжело быть побежденным, невыносимо-мучительно видеть свою страну покоренной, сдаться на милость врагу. Но несколько лет тому назад, из-за ничтожного пустяка, Польша первая загрохотала оружием и уже готова была наброситься на маленькую Литву, в десять раз слабейшую, чем она. Я видел фотографию, снятую на одной из варшавских площадей — многотысячная толпа, и среди толпы огромное полотно, на котором написано: «Веди нас, маршал, на Ковно!» Что должна была гережить двухмиллионная Литва, когда на нее готова была наброситься тридцати-пятимиллионная Польша?

Невольно вспоминалось также, как обращалась сама Польша с народами, которые находились под ее властью. Разрушение русского собора в Варшаве, уничтожение православных церквей, преследование и унижение всего русского. Имея около тридцати пяти процентов русских, украинских и других меньшинств, поляки утверждали, что эти меньшинства составляли только три процента. Русские избегали в Варшаве говорить по-русски из страха всевозможных репрессалий.

Такое отхошение поляки оправдывали тем, что когда-то русское правительство их притесняло.

А при старом правительстве некоторые министерства были переполнены поляками. Лесное ведомство, министерство финансов, путей сообщения пестрили польскими фамилиями. Поляки профессора, врачи, адвокаты работали наравне с русскими. Очень известный русский инженер говорил мне, что директора семи русских паровозостроительных заводов все были поляки. Из одиннадцати русских вагоностроительных заводов рус-

ских директоров имели только два, а девять поляков.

Какое было отношение к русским в самостоятельной Польше, могут рассказать только жившие в ней русские; как гналась и преследовалась православная Церковь — расскажут как-нибудь сами православные. Сколько церквей православных было разрушено также можно точно подсчитать, сейчас называют цифру чetyреста, в том числе и церковь, построенная во времена Владимира святого. Католическая церковь, в лице папы, приняла под свое крыло гонимых в Германии евреев. Но что она сделала, чтобы прекратить гонение поляков на православных?

Или она была заодно с гонителями?

Католическое духовенство молчало, глядя на преследование православия. Оно доходило до абсурда, утверждая, что разрушают русские церкви франк-массоны!..

Старое русское правительство, кто только его не лягал? И кто скажет о нём всю правду?

Были недостатки и промахи, но были и достижения. Русская бюрократия отличалась той высокой честностью, которая Западу не снилась.

Уже одно то, что русское общество до конца осталось верным союзникам — и как оно за это поплатилось!

А между тем, когда перед новой войной во Франции решили сделать или поставить фильм «Сердечное согласие» — действующими лицами были только англичане и французы. О русских — ни слова. И все новые государства показали себя гораздо более нетерпимыми по отношению к тем меньшинствам, которые остались у них, чем старые, исторически сложившиеся страны.

В одном из маленьких государств был устроен конкурс: надо было выбрать лицо, говорившее на нескольких языках и обладавшее голосом, который подходил бы лучше всего для передачи по радио. Такой человек нашёлся: он знал местный язык, три или четыре ино-

странных, и голос его был как нельзя лучше. Но ему отказали — он был русский. Назначили другой конкурс. Русский вновь принял в нём участие, скрыв свою фамилию. Он прошел опять первым; но когда обнаружилась его настоящая фамилия, ему снова отказали и пригрозили еще отдать под суд.

Румынские жандармы ничего не нашли лучшего, как запретить в телегу русских старообрядцев и кататься по селу, стегая бичем людей, преобразенных в коней. Слышал ли кто-нибудь о чём-нибудь подобном в Бессарабии, когда она была под властью России?

Еврейские погромы в России служили доказательством для западных демократий варварства русских. Но еврейские погромы в самостоятельной Польше, особенно в дни натянутых отношений с Литвой, когда было разгромлено великое множество еврейских магазинов, европейскими демократиями стыдливо замалчивались — это не было варварством. Польша, союзница демократий, варварской быть не могла. Варварской страной пребывала только Россия, пока Франция и Англия в ней не нуждались.

При мне зашел однажды разговор о современных событиях. Бывший при этом доктор-еврей, имевший хорошую квартиру, практику, капитал, вмешался в разговор и заявил, что так страдать, как страдают евреи в Германии, еще никто не страдал. Один из присутствовавших заметил, что русский мужик во время революции, голода и в колхозах страдает не меньше.

— Но русский мужик — существо грубое, некультурное, он привык к лишениям. Разве можно сравнить его с евреем? Еврей — тонкий, культурный, глубоко чувствующий человек, а русский — толстокожий, — таково было суждение доктора.

Бедный русский народ, ему даже отказывают в способности испытывать страдание, как будто у него не было-бы тела. И потому, когда всем другим может быть больно, голодно, холодно, страшно и грязно —

русский мужик не должен чувствовать ни боли, ни холода, ни голода, ни грязи...

Еврейский вопрос кажется вечным вопросом человечества. В античные времена особой любовью и уважением евреи не пользовались, бывали погромы в древней Александрии, Цицерон боялся их. Какой-то римский император сослал в Сардинию четыре тысячи евреев. Причиной этого недружелюбия, может-быть, являлась неукротимая мстительность евреев: слабому врагу они пощады не давали. Кто из человеколюбивых людей останется равнодушным, читая в Библии книгу «Эсфирь»? Расправа с Аманом, убийство его сыновей и семидесяти пяти тысяч врагов иудеев — итог интриг Эсфири и дяди ее Мардохея. А убийство сотни тысяч врагов не в открытом бою, а прикрываясь царским именем, празднуется евреями и теперь, как праздник Пурим.

Правда, это было давно. А вот совсем недавно одна еврейская дама, получившая в России высшее образование, мне сказала, что большевизм это месть евреев России за черту оседлости. Какая страшная месть! Она началась еще до революции: немцы пользовались евреями пограничной полосы, как шпионами против русской армии; в лагерях для военно-пленных евреи-переводчики были главными помощниками немцев по утеснению несчастных пленных. А роль жены Сухомлинова, еврейки, и ее разноплеменного окружения в предательстве ее мужа, военного министра во время войны!

Моя собеседница может быть преувеличила значение евреев в происхождении большевизма — этот вопрос нуждается в специальной беспристрастной разработке — но вот, что происходит сейчас. Одно время университеты в России были открыты для всех и много русских, в том числе рабочих и крестьян, пользуясь бесплатностью обучения, шли туда учиться. Но в 1939 году, а может быть и раньше, была введена плата и

так жестоко, что тем кто не смог внести её, не дали даже кончить курса. Со слезами, молодые люди возвращались на заводы. Теперь в русских университетах до девяноста процентов студентов евреев, ибо евреи, занимая лучшие места в администрации, промышленности и торговли государства, как внутренней так и внешней, обладают достаточными средствами, чтобы давать высшее образование своим детям. Так постепенно происходит сейчас замена русского культурного класса еврейским.

Какие это вызывает чувства в стране — нетрудно себе представить, но выявить их никто не смеет.

Может быть некоторым кажется, что еврейского вопроса просто не существует, что каждый еврей, родившийся в какой нибудь стране и получивший тем ея гражданство, имеет на эту страну такие же права, как и основное население. Таково, повидимому, положение евреев в Англии, Америке и было в Германии до прихода к власти Гитлера. Таково-же теоретически оно и в Советской России. На деле-же, вот как было оно охарактеризовано в одном письме оттуда: «Есть, конечно, и тут люди, которым живется хорошо: дети их под надзором nurse катаются в колясочках, сами они хорошо одеты и ни в чём не нуждаются — но всё это не для нас»... Следовала просьба о присылке посылки — тогда еще это можно было.

А вот что рассказал приехавший оттуда в командировку ученый. После тяжелой болезни он с большим трудом устроился на поправку в Крым. За столом, где он обедал, оказались почти исключительно евреи. И вдруг до него доносится фраза: «И откуда у этих русских еще деньги, чтобы ездить по курортам?»

Когда шла в России конфискация церковных сокровищ — на протяжении веков исторически накопленного народного достояния — приехавшая из Америки дама рассказала, что в одной еврейской семье ей показали, как редкой красоты художественную вещь, пун-

цового бархата плат — предмет православного церковного обихода — весь густо расшитый чудесным жемчугом. Семья была среднего достатка, купить такую вещь она не могла; какими путями и почему этот священный для православных плат попал к ним? Не были это один из путей расхищения народного достояния России?

Подобного рода фактов можно было-бы привести много. Все они показывают, что еврейский вопрос ставится в значительной мере самими-же евреями. Их исключительное пристрастие к материальным благам, их неразборчивость в средствах — все дома терпимости в России содержались евреями; их рекламирование своего и беззастенчивость в отношении других — презрение доктора к русскому крестьянину и разговор за столом на курорте в Крыму; наконец, их неудержимое стремление властвовать, деньгами ли, или играя роль на политических верхах, захватывая руководящее положение всюду, куда они проникают, всё заполняя своими; постоянное различие — свои и чужие, причем в отношении этих чужих, гоев, позволено то, что не позволено в отношении своих — вот та стена, которую окружает себя еврейство в целом, та духовная черта оседлости, которую бывает иногда трудно переступить даже тем, кто никогда никаким антисемитизмом не страдал.

Евреи продолжают чувствовать себя избранным народом — самые талантливые, самые умные, самые выдающиеся на всех поприщах жизни, даже самые страдающие — а между тем, ни один народ на такую исключительность претендовать не может. Везде есть добрые и злые, выдающиеся и ничтожные. Страдания евреев сейчас, конечно, огромны, но страдания русского народа на всём протяжении необъятной страны разве не превосходят всё, что знала до сих пор история? А это не только стараются замолчать, но еще выдумывают вздор о нечувствительности русского крестьянина.

Есть своя глубокая трагичность в том, что еврейский народ продолжает считать себя богоизбранным. В действительности, он утратил эту богоизбранность в тот момент, когда, не узнав в Христе долгожданного им Мессию, распял Его. — Кровь Его на нас и на детях наших — тяготеет над ним и будет тяготеть до тех пор, пока он не осознает своей ошибки. В Писании есть указание, что это должно прийти; отдельные евреи и сейчас приходят к этому и, даже не меняя веры, духовно тянутся ко Христу — это лучшие из них. Под влиянием впечатления от роли евреев в насаждении большевизма в России, одна женщина-врач еврейка, приняла тайно православие. Но это единицы; их голос, как и голос древних пророков, редко доходит до массы Израиля, упорствующей в своем ослеплении.

Еще было одно непонятное обстоятельство: большевики разложили русскую армию, заключили Брест-Литовский мир и занялись уничтожением буржуазии. Насколько это удлинило войну и сколько потребовало лишних жертв со стороны французов и англичан — пусть ответят специалисты.

И всё-же большие слои французского и английского общества после войны признали тех, кто им изменил, искали их дружбы, союза с ними... Разорение России, страшные годы революции, где погибали безвозвратно лучшие достижения русской старой культуры, высокой и прозрачной, как воздух, которым дышит человек; невообразимый голод, породивший людоедство; террор, обнищание масс — все эти несчастья, по словам одного французского социалиста, — только «обнаружение величия коммунизма».

Брест-Литовский мир был забыт, прощен, и теперь, когда Германия и большевики шли вместе, все громы негодования обрушились на одну Германию. Большевиков только слегка любовно поругивали, как друзей, совершивших неосторожный шаг. Может быть потому,

что противники Германии не теряли надежды сдѣлать их своими союзниками.

Как-бы то ни было, всё то, что дремало где-то в глубине, проснулось в это смертельно тревожное время, стала ясной и непреложной, всех одурманивающая великая бессовестная ложь мира. Человеческой правде эта война не была нужна, её можно и должно было избежать — для этого нужно было только прислушаться к голосу совести, учесть, на ряду со своими, также интересы своего соседа. Но истины никто не хотел видеть, её избегали, прятали за ложными утверждениями.

Взаимная ненависть, беспросветный эгоизм, настолько самих народов, сколько клик правящих народами, сбросили с себя все одежды и прятались за лживыми словами интересов своего народа. Из плодов его труда готовили ему-же гигантскую мясорубку, не спрашивая его желанія. Через тысячелетія доносились наполненные трепетом, гневные и скорбные слова пророка Исаи:

— «...беззаконія ваши произвели разделение между вами... и грехи ваши отвращают Бога от вас... руки ваши осквернены кровью, и персты ваши — беззаконіем... Уста ваши говорят ложь... Никто не возвышает голоса за правду и никто не вступаетъ за истину... Надеются на пустое... и рождаетъ злодейство... Ночи их бегут ко злу, и дни спешат на пролитіе невинной крови. Пути мира не знают они... Осызаем, как слепые, стену и, как без глаз, ходим ощупью. Спотыкаемся в полдень, как в сумерки, между живыми, как мертвые. Мы говорим клевету и измену... и правда стала вдали, истина преткнулась на площади, и честность не может войти..!» — так торжествующее злое начало в жизни вызывало праведный гнев пророка. Но как-бы стал он действовать в наше время? Их и тогда гнали и избивали, а теперь они вероятно имели-бы еще горшую участь. Чем должен руководиться тот, кто правит людьми?

Первые уроки государственного устройства мне преподавала моя старая гувернантка.

В ответ на мои вопросы она говорила о божественном происхождении власти и, рисуя для меня в тетради, рассказала мне о помазании царей на царство. Я вспомнил об этом в связи с поставленным выше вопросом. Принимая помазание, царь брал на себя долг править не только во имя народа и его земных интересов, но и во имя Высокого, Непостижимого Начала, что открывается человеку в религии. Бремя правления — тяжело; всякий акт правления должен быть проверен и оправдан внутренним голосом совести божественного помазанника, в полном сознании ответственности за свои решения. А как было принято современными правителями решение бросить мир в эту новую страшную войну?

И конец войны мне представлялся пробуждением народных слоев, изгнанием тех, кто посылал их на гигантскую бойню... Было чувство конца старого мира, но конца ужасного, когда могут погибнуть и грешные, и праведные, виноватые и невинные.

Никогда так ясно не вставало в душе сознание необходимости морального начала в жизни, уничтожения лжи, замены эгоизма вниманием к другому.

Чего только я не припомнил в длинные, бессонные ночи и ранние темные утра, чего только не передумал, приходя иногда к совершенно неожиданным заключениям.

ГЛАВА IV

ГОРЕ НАНСЕНИСТА

Было ясное осеннее утро. Я бес всякой надежды зашел в туристическое бюро узнать, нет-ли какого парохода в Бельгию. Дама блондинка, увидев меня, сделала знак подойти к ней.

— Из Гельсингфорса отходит пароход в Антверпен, в субботу в 4 часа дня. Есть несколько свободных мест на палубе. Можно задержать одно по телеграфу, если хотите. Но нужна финская виза. Теперь четверг. Действуйте скорее.

Я побежал в финское консульство. Виза из Гельсингфорса еще не пришла. Обещали справиться по телефону и потребовали две фотографические карточки. Я не пошел, а полетел на розыски фотографа; они все в один голос говорили, что не могут приготовить карточек

к вечеру; только один взялся напечатать к следующему утру. И утром с карточками я помчался к финнам. Виза пришла. Служащая возилась с паспортом, я заполнял бланк, где было 10-15 вопросов: подданство, цель приезда в Финляндию, длительность пребывания в стране, на всё нужно было ответить самым точным образом. Присоединив к прошению фотографии, и заплатив 5 крон, я получил паспорт и побежал в туристическое бюро. Дама поглядела на меня и только покачала головой — все места на пароходе были уже заняты.

Я вышел на улицу, совершенно спокойно, как будто ничего не случилось. Только давила странная неопределенная пустота. В голове не было мыслей, ни горечи, ни желаний... Вероятно такое состояние переживает игрок, проигравший всё свое состояние и не знающий, чем и как он будет жить.

Придя к себе, я лег на диван; потом встал, сел на подоконник и долго глядел на базарную толкотню. Но ничего не видел. А пустота становилась невыносимой.

Осенний ветер гнал пыль и срывал листья с кленов. Медленно наплзали с моря тучи. Дышать становилось всё труднее. Ветер, пыль, тучи, стены, мостовая давили грудь. И я решил уехать с первым поездом в деревню и переночевать у себя.

Был только еще полдень, а поезд отходил в три часа. Чтобы убить время, я взял несколько томов энциклопедического словаря, начал читать какие-то статьи и разглядывать рисунки; но всё ускользало, как вода из решета, — читал и не понимал, глядел и не видел.

Промучившись таким образом до двух часов, я захватил чемоданчик и побрел на вокзал. Ветер дул еще сильнее; низкие лохматые тучи, закрывшие всё небо, еще больше усиливали удушье. Я шел медленно. Не хватало воздуха; словно тяжелая плита лежала на груди. На вокзале перед кассой толпилось много отъезжающих. Пришлось стать в очередь. Она медленно подви-

Галась к окошечку, и я крепился изъ всех сил, чтобы не упасть.

Наконец, взяв билет, я шатаясь направился к поезду; расстояние — шагов двести, но мне казалось, что до него было очень далеко. Полил частый, крупный дождь. Разразилась гроза. Стало темно. Черные тучи каждую секунду озарялись тусклым блеском молний; гневно рокотал гром. С каждым ударом дождь всё усиливался, грянул настоящий ливень; раскрылись зонты, поспешно стали набрасывать пальто и непромокайки. Воздух стал еще более тяжелым от влажности. Я чуть-чуть дышал, а сердце больно колотилось в груди; казалось, что оно, вот-вот, сделает громадный прыжок, надорвется и замрет совсем. Особая, астматическая тоска охватила меня. Кто страдает астмой, тот знает и поймет меня и мое состояние. Уже окончательно выбиваясь из сил, я вошел в вагон и занял первое попавшееся место. Я был весь мокрый от пота, белье прилипло к телу и усиливало неловкость и удушье. Пассажиров к несчастью оказалось много, и все окна были закрыты. Было еще хуже, чем на платформе. Я прижал к себе портфель и застегнул карман, где находились деньги и документы, чтобы в случае обморока их не выронить. И вдруг на мое счастье открылась дверь, пронесся сквозняк, и вошла знакомая дама. Напротив меня оказалось место, я ей знаком показал на него.

— Что с вами? — спросила она.

— Дурно, душно. Не уходите от меня.

— Нет, нет... Я буду около вас... У вас всё лицо в поту...

От ея-ли присутствия, или от пронесшегося сквозняка мне стало немного лучше. Припадки удушья приходят и уходят, как им вздумается.

Хотя гроза продолжалась, но тучи поднялись, дождь стал реже. Поезд тронулся. За городом дождь совсем перестал.

Моя заботливая спутница отворила дверь, чтобы

впустить свежего воздуха, но через минуту кто-то снова затворил её.

Пассажиры, большей частью хуторяне, здоровые мужики и бабы, работающие в поле и в лесу целый день, в поезде боятся открыть окно и предпочитают толпиться в духоте.

— Пойду в соседний вагон, может быть там меньше народу, — сказала спутница и выйдя через минуту вернулась.

— Пойдемте, там гораздо лучше.

Захватив мой чемоданчик, она взяла меня под руку, и мы прошли в соседний вагон.

— Испугали вы меня; теперь вам лучше? Да что с вами было?

— Припадок удушья. Боялся потерять сознание. Хорошо, что вы пришли.

Дама ехала до той-же станции, куда мы и прибыли благополучно. Гроза уже прошла и на земле стояли лужи от проливного дождя.

Прощавшись со спутницей, я пошел прямо к себе. Небо было серое, дом выглядел сиротливо и грустно. На аллейке никаких человеческих следов. Я открыл ставни, приготовил постель и сел у окна. Не писалось и не читалось. И только тут картины сегодняшнего утра против воли поползли одна за другой. Бюро, яркая надежда, консульство, нескончаемая волокита с визой и невольное опоздание из-за этой волокиты. А в комнате с обоями небесного цвета словно жила и билась тревога за меня близкого дорогого человека; я чувствовал эту тревогу на расстоянии. Мысль, что мы можем быть разлучены навеки, гнетущей бесграничной тоской заползала в сердце. И от этой тоски снова стало трудно дышать. Как-бы в ответ моей тоске и удушью гневно заблестели молнии, снова полил дождь...

Всё это было хуже самой войны. На войне — сила противостоит силе. Но быть осужденным на верную гибель из-за того, что нет визы, а визы не дают потому,

что когда-то и где-то человек не мог примириться с гнетом и пролитием крови, — состояние невыносимое.

Бессильный гнев, удушье, безмерная тоска и тревога вдали от дорогого человека, как дикие звери грызли и мучили душу и тело. Добровольная смерть казалась единственным выходом. Но я знал, что далекий и такой близкий мне человек всем своим существом восстает против такого решения. Что-же было делать?

На крыльце мелькнула чья-то фигура, стукнула дверь. И тот, кто пришел, данным ему даром, без слов, по одному виду, угадал мое состояние.

Если эгоизм человеческий не имеет границ, то и человеческое сердце заключает в себе бесконечные возможности утешения и успокоения в самой острой и безнадежной скорби.

Не было ненужных слов — мою тоску, боль, отчаяние поняли и разделили. Другая душа почуяла мое намерение и отвратила меня от него. Перед глубоким порывом человечности зло отступило. По комнате пролетел ангел надежды. Гроза минула, удушье прошло, на темном небе уже сияли омытые дождем звёзды; только над горизонтом стоял черный треугольник, и взлохмаченные его края на миг освещались фиолетовыми вспышками.

Два явления заняли мои мысли: встреча с дамой в вагоне, когда я был близок к обмороку, и приход безмолвного утешителя. Был-ли случай это, или Тот, кто бросает молнии на землю, внял далекой тревоге обо мне, и послал помощь в самую нужную минуту.

Я был уверен, что это не случай.

— А теперь пойдемте к Дексеевым. Вам надо поесть, вы вряд ли сегодня что-нибудь ели.

Я повиновался; воли у меня своей не было. Мы вышли. Темная ночь покрывала всю землю. Только там, наверху, блестящие созвездия в безмолвном хороводе свершали предначертанный им путь. Чуть белели

камни на дороге, шелестела под ногами трава. Падучая звезда скатилась с зенита, провела на небе яркую огненную черту и рассыпалась разноцветной пылью, словно ударившись обо что-то твердое. Вдали лаяла собака, деловито, бес спешки, исполняя только свой собачий долг. Воздух прохладный, дышалось легко. Удушье прошло совсем. Я испытывал то блаженное чувство, что испытывает выздоравливающий после тяжелой болезни.

Среди сосен мелькнули освещенные окна дома Дексеевых. По тропинке, спотыкаясь, мы пошли на свет. Оба были дома.

— Вот и хорошо, что пришли, — обрадовалась чета — садитесь за стол, мы как раз собирались ужинать.

На плите стояли горшки, миски, сковороды, в которых что-то варилось, жарилось, пеклось. Хозяйка в розовом с цветами капоте, как главнокомандующий, распорядилась на плите, а хозяин в трусиках и теплом пиджаке совал в печь сухие сосновые ветки.

— Ох-хо-хонюшки, — никому не жалко Агафонушки, — приговаривал голоногий истопник, засовывая последнюю ветку в печку, — надо еще нарубить дров... А на дворе-то тя-я-мно, леший бродит, домовый гуляет, русалка на ветвях сидит... Дай-ка топор, хозяйка, уже поплетусь, да если скоро не приду, то значит русалки утащили.

— Вот тебе топор, да будь осторожнее себя не стукни в потьмах. А русалок тут нет. Оне только на речке водятся. Если только не приманил какую-нибудь.

— Madame, какого вы мнения обо мне... Оне-же холодные, скользкие, в водорослях и в тине.

— А ты откуда знаешь?

— Народ рассказывает... Да что с тобою говорить... До свидания.

На дворе затукал топор; хозяин скоро вернулся с охапкой веток и присев стал подтапливать плиту.

— А вы не кручиньтесь, — вдруг обратился он ко мне, — всё пройдет, всё будет благополучно.

— Вы здесь среди своих, среди друзей, — сказала жена, — не бойтесь, если-бы вам и пришлось остаться. Конечно, тяжело быть вдали от близких в такое время. Но я уверена, что вам удастся попасть в Париж, у меня чутье верное.

— А твое верное чутье не говорит, что что-то пригораёт, — заметил муж.

— Ах, батюшки, и в самом деле! Ну, за стол садитесь, местные и иногородние.

После ужина нас не отпустили: меня положили спать в соседней комнате, утешитель расположился в другой. Ночью я долго не спал. В окно была видна темная ночь, звёзды, бледная полоса Млечного Пути. Вышла поздняя луна и посеребрила окна, заиграли капли, густо висевшие на сосновой хвое. В голове бродили мысли о войне, о том, что её порождает; о томлении тех, кто ждет смертного часа, о силе, которая могла-бы преодолеть это томление; о неразгаданных и непонятных истоках зла, о добре, что заключается в душе человеческой. Думал о милой, незабываемой стране российской, о благостной тайне ея просторов, лесов, степей... Но всё, что предлагал человеческий разум в объяснение, — не принималось, как свое-же человеческое, ничего не объясняющее, подверженное сомнению, низменное, непонимающее. А какая-то точка внутри утверждала: должно было быть высшее, стоящее над разумом и самим человеком. Оно было, оно есть, оно непременно должно было быть. И совершив скачек через пропасть, логику разума, мысль превратилась в знание, знание — в ощущение. Кого-то, Кому принадлежало полное всеобъемлющее могущество над звездами и человеком. С этой раскрывшейся тайной раскрылась другая — Оно не могло быть иным, как только благим.

И мое маленькое человеческое я, дивясь и ликуя, погрузилось бестрепетно в ощущение великого могущества, не имея возможности определить и назвать от Кого оно исходило.

* * *

Прошло три или четыре дня; я уныло бродил по пустой квартире в Ревеле и не знал, что предпринять. Одно ожидание бес всякого действия в таком положении невыносимо. Хотелось что-то придумать, чтобы продвинуть, сделать возможным отъезд. Мелькнула мысль — нельзя-ли проехать через Германию. Я и раньше думал об этом, тем более, что немецкая обратная виза была выдана мне еще в Париже. Всё-же, ехать через Германию мне не хотелось. Я хотя и был русский нансенист, страшно было как-бы не застрять: с паспортом, выданным во Франции, немцы могли принять меня за французского разведчика, а французские власти проезд через Германию в такое время тоже могли истолковывать, как нечто подозрительное. И потом, можно-ли было вообще проехать через воюющую страну?

Кто видел войну, наступление и отступление армий, разрушение дорог, мостов, бесчисленные колонны войск, обозов полевых госпиталей, артиллерии, тот знает, что отдельному человеку, не воюющему и не военному, да еще иностранцу, легко затеряться в таком сумбуре и попасть в положение, что по-русски именуется «аховым».

Сам как-то не ожидая и не веря, я очутился в немецком консульстве. Главный секретарь был занят. Меня и сопровождавшую меня даму попросили обождать в приемной. На половину италианка — зовут её Беатриче — на половину немка — в целом она ни то, ни другое, а русская. Дама дважды титулованная и по отцу, и по мужу, а как она проста, как искренно забыла прошлую привольную жизнь! Источник её существова-

ния — небольшой магазинчик, где можно купить мыло, зубную щетку, губную помаду, гребешек и разную другую мелочь. С ней всегда свободно и приятно. Она прекрасно владеет немецким языком, и её знают в консульстве.

Среди ожидающих много пароходчиков, их принимают вне очереди. Один из них сидит напротив нас — у него очень озабоченное лицо. Война для пароходчиков дело неприятное. С кем можно торговать, с кем нельзя; где можно проехать, а где — невозможно; какой товар могут пропустить, а какой — не пропустят? Один груз немцы пропустят, англичане захватят; другой груз — англичане пропустят, немцы захватят. А торговать надо, надо жить. И пароходчик то смотрит на потолок, о чём-то раздумывая, то вертит пепельницу, то бес всякого внимания разглядывает какой-то проспект. У представителя этой компании есть несколько пароходов груженных маслом и лесом для Англии. И вероятно он пришел справиться — пропустит-ли Германия этот груз.

Приходит служащий и просит пароходчика пройти наверх, к секретарю.

Мы остаемся одни. Время тянется долго. Я еще раз припоминаю, что нужно сказать, и чувствую, что когда придет момент, многое забуду. Наконец зовут нас; поднимаемся на верхний этаж; лестница выстлана ковром, шагов не слышно, и словно сама собой отворяется дверь напротив. Входим. Высокий, молодой немец с розовыми щеками и моноклем в левом глазу поднимается нам навстречу и делает шаг вперед. Здравствуемся. Моя спутница — его знакомая — представляет меня секретарю, и мы садимся. Я излагаю цель моего прихода; иногда Беатриче поправляет меня. Секретарь слушает внимательно.

— Вы русский? — спрашивает он меня.

— Русский. Но живу во Франции.

— Я понимаю тоже по русски. Вы говорите у вас есть обратная виза через Германию.

— Да, — и передаю ему мой нансеновский паспорт.

Он внимательно рассматривает паспорт и визу, и передает обратно.

— У вас всё в порядке. Вы можете смело ехать через Германию.

— Может быть, виза эта уже недействительна? Может быть, вы её подтвердите?

— Ничего не надо. С этой визой вас впустят и выпустят. Через три дня как раз идет пароход в Штетин. Садитесь и поезжайте. Вас никто не задержит.

На этом мы и расстались.

— Вы довольны? — спросила спутница, когда мы вышли на улицу.

В ответ я только неопределенно покачал головой. Несмотря на слова консульского секретаря, у меня на переезд через Германию не хватало решимости. Секретарь был очень молод, войны он еще не видал, и что делается во время войны, он, конечно, не мог ясно себе представить. Эту возможность я решил приберечь на самый крайний случай.

ГЛАВА V

ДОМ ПОД СЕНЬЮ СВ. ОЛАФА

Дома вечерами было очень томительно.

В один из дней, когда никуда не надо было идти, и всякое дело валилось из рук, я нанес визит моей соседке-балерине. Напротив протестантского собора святого Олафа с высокой остроконечной колокольней, которая еще издали видна с моря, стоит большой каменный дом; когда светит солнце, тень от собора падает на этот дом.

В нём, на втором этаже жила наша соседка со своим мужем и больным отцом.

Молодой хозяйки еще не было дома. Дверь открыл отец; с феской на голове, с очками на носу, он долго и внимательно присматривался ко мне

— Вам кого угодно?.. Господи, да это вы, я не узнал

вас в городском костюме. Входите, входите... Ира сейчас придет, мы пока набеседуемся. Я тут раскладывал пасьянс...

Забыв карты, он стал спрашивать, как мои дела, а потом незаметно перешел к воспоминаниям о своей прошлой деятельности и сразу завладел моим вниманием. Я любил его рассказы, они открывали мне сторону русской жизни, которой я совершенно не знал и не мог знать. Технолог по специальности, бес связей, он начал свою деятельность очень скромно и закончил её директором одного из самых больших русских заводов,

То был строитель земли русской. Но слушая его, я в первый раз по настоящему увидел, как трудно, а подчас и невыносимо было строителям и устроителям России.

Сколько писем получил этот человек от боевой дружины революционеров с угрозой убить его, когда он был начальником железно-дорожных мастерских в Ростове! И несколько мастеров его были действительно убиты. Инженеров вывозили на тачке, устраивали забастовки, словом портили ему дело и налаженный труд, как только умели. Революционерам важно было внушить рабочим, что их эксплуатируют, и толкнуть на путь революции. Но упрямый инженер-хохол ничего не боялся — ни анонимных писем, ни смерти; а мастерские свои поставил так, что спрос на его мастеров был повсюду, как на людей добросовестных и знающих свое ремесло. Особенно их ценили на Дальнем Востоке, где мало было обученных рабочих, и где надо было и мосты строить, и паровозы чинить, и вагоны лечить.

— Я начал работу с простого рабочего и знаю, что такое труд. У меня были не мастерские, а школа, где учились работать; те-же, кто устраивал забастовки, о работе понятия не имели, молотка верно не сумели-бы взять. Те, кто мешал тогда, пусть взглянут, как жили

рабочие при мне, и как живут сейчас, и спросят старых рабочих, при ком им было лучше. Мое начальство, когда началась забастовка, советовало мне уйти и предлагало другое хорошее место; но я не ушел — это было-бы отступлением, трусостью с моей стороны — я остался. И в это время со мной произошел такой случай: захожу я в одну мастерскую, и вижу толпу — человек сто; окружили рабочие жандарма, а тот у стены, в одной руке револьвер, в другой шашка; вот-вот готовы наброситься и растерзать; надо было рискнуть, чтобы спасти человека. Прошел я через толпу, подошел к жандарму, взял у него оружие и сказал: теперь он безоружен, но я вам его не отдам, пропустите нас, или убейте обоих. И мы прошли, никто нас не тронул.

Для своих рабочих устроил он больницу, столовую, дома, лавку, театр; сам заботился о прибавке жалованья. В конце концов, несмотря на подускивания боевой дружины, рабочие поняли и оценили своего начальника; когда он покидал Ростов, они поднесли ему золотой хронометр.

— Рухлов осматривал нашу дорогу, — продолжал рассказчик, — и узнав, что малый размер паровозов у меня делается в три раза скорее, чем на других дорогах, предложил мне перейти в департамент железных дорог при министерстве. Но я в это время уже был приглашен занять место директора Балтийского завода и отказался. А на этом заводе, где я работал, до занятия Прибалтики немцами, оборот с четырех миллионов повысился до шестнадцати. Немцы знали обо мне и ценили. Большевики хотели заполучить меня к себе, несмотря на то, что я монархист. А в Эстонии, за ту работу, которую я сделал для страны, мне дали эстонское подданство и пенсию. Кроме того, я еще читаю лекции на русских политехнических курсах.

Да, вопреки уверениям революционеров, жилось в России рабочему человеку не так уж плохо: на железных дорогах, на больших фабриках и заводах, на рудниках,

например, в Донецком бассейне на руднике Парамоновых, имелись для рабочих дома, школы, кооперативы, театры, больницы... Заработка хватало, чтобы по большим праздникам на столе рабочего и простого ремесленника был бы гусь, окорок или зажаренный поросенок. Старость была обеспечена пенсией. И не будь этой революции, вся дворянская земля через сорок-пятьдесят лет перешла-бы в крестьянские руки, а рабочие стали-бы небольшими собственниками. Россия обгоняла Америку, и через короткое время она была-бы самой богатой, цветущей страной. Да не привела судьба. Самое скверное, что может сделать один человек другому — это потакать его низким инстинктам, твердить ему о его правах и забывать о его долге!

Где-то щелкнул ключ, послышались твердые быстрые шаги, вошла молодая хозяйка.

— А, вы с папочкой беседуете... Папа, — наклонилась она к плохо слышавшему отцу, — я забираю гостя, покажу ему студию...

— Хорошо, хорошо, покажи; я тут еще пасьянс не докончил...

— Ну идемте, многоуважаемый гость. Это папина комната — спальня, кабинет и библиотека разом. Папа любит лечиться, видите, как много у него склянок на столе, приходится иногда и ночью давать ему лекарства, моя комната рядом. А эта, — продолжала она, когда мы перешли в большую залу, всю увешанную по стенам фотографиями, — это и есть студия, где мои ученицы танцуют до седьмого пота. А следующая комната — уборная... Тут раздеваются и одеваются, для чего и повешены занавески.

Квартира была большая, с высокими потолками.

Мне хотелось спросить сколько она стоит, сколько учениц, и как она ей платят. Но спросить я не решился и только заметил

— Такая квартира должна стоять очень дорого,

и потом еще отопление, освещение и всякие другие расходы.

— Зайдемте ко мне в комнату. Я вам расскажу, как я справляюсь. Садитесь на диван, а я на мое кресло, вот так. Должна вам сказать, что балет — это моя жизнь, не знаю, что-бы без него я делала. Когда мне пришлось в голову открыть балетную студию, труднее всего было победить упрямство папы. Но я, его дочь, оказалась еще упрямее его. Открыла студию — и хорошо сделала: некоторые годы были прямо блестящие. Правда, были и посредственные. И папа смирился... Люблю танцы больше всего в жизни; руками и ногами говорю то, что другие говорят музыкой или словами. Я очень счастливый человек: нашла свою дорогу, не боюсь ни бедности, ни лишений; будет война — опять сделаюсь сестрой милосердия. Ну, теперь пойду готовить завтрак, а вы с папой поговорите; он вас, конечно, будет спрашивать — о чем мы беседовали; он у меня ведь такой — где была, о чём говорила, кого видела; письмо получила — от кого, о чём пишут?.. Он меня маленькой еще считает. Говорите ему только громко, он плохо слышит.

И балерина полетела на кухню.

Пришел отец, кончив раскладывать пасьянс, и увидев, что я один, просительно-извиняющимся тоном спросил

— О чём-же вы говорили с Ириной?..

После завтрака, молодая хозяйка вышла меня проводить в переднюю.

— Я сказала, что я счастливый человек. Это правда. Но у меня бывают черные минуты. Мне хочется изгнать из моего искусства всё недостойное. Хочется дать высокое, а публика любит другое, дешёвку. Но мы еще об этом поговорим. Заходите к нам, пока вы тут. Мы все будем очень рады; я вам какнибудь покажу своих учениц. Непременно заходите.

С того дня я стал чаще бывать в доме под тенью св. Олафа.

Влекло меня туда мужество маленькой женщины; большая любовь отца к дочери, и дочери к отцу и, как это часто бывает, любовь избегающая слов и обнаруживающаяся только в действиях; забота и тревога о здоровье мужа, который работал по 12 часов в сутки, и особая, невольно притягивавшая к себе искренность молодой хозяйки. Она не скрывала своих переживаний — ея думы и помыслы были чисты. Мне очень нравилось, когда она говорила — «мои мужчины». «Моим мужчинам» она отдавала свою силу и внимание. Но в то же время не дай Бог было перечить ей в чём-нибудь. О, тогда поднималась гроза с бурей... И «мои мужчины» склонялись перед этим маленьким заботливым тираном.

Но семейная привязанность не закрывала ей глаз на остальной мир. Она любила людей, природу, искусство.

И мне было приятно бывать в том доме, слушать рассказы отца, беседовать с хозяйкой. Я говорил ей о Париже, о парижской жизни, о моих путешествиях по Италии, Египту, Греции... Она — о своем любимом балете, выступлениях, о тяжелой жизни в России во время революции. Тревожилась о моей судьбе, о судьбе близкого мне человека, и между нами незаметно установились самые хорошие человеческие отношения. Подняла на ноги своих знакомых, наказав им, что как только будет что-нибудь известно о подходящем для меня пароходе, дать ей сейчас-же знать.

ГЛАВА VI

СВЕТ ВО ТЬМЕ

Этого дня мне не забыть. Было около полудня. Приехавшая с дачи хозяйка ушла на базар. Ея старший сын, студент Уся, разбирал на столе свои тетради, я стоял у книжного шкафа и смотрел в окно на толпу. День был серый. Серо было и на душе. Никаких вестей ниоткуда. Вдруг громко зазвонил телефон. Студент подошел к аппарату, долго и внимательно слушал, потом ответил по эстонски. Послышалось слово «Норма». Я не обращал сперва внимания. Но студент обернулся ко мне и неожиданно спросил

— У вас нансеновский паспорт?

— Да.

— Бельгийская виза есть?

— Есть.

Опять последовал длинный разговор. Наконец Уся положил трубку и сказал:

— Телефонировали из пароходной компании. Через неделю идет из Гельсингфорса пароход «Норма» в Бельгию и берет 12 пассажиров, но только нейтральных — поляков, французов, немцев, англичан не берут — ваш паспорт считается нейтральным. Вы можете поехать с этим пароходом.

Огромная тяжесть спала с души. Как я был благодарен Усе за эту весть — не могу сказать. Сейчас же я помчался в туристическое бюро. Моя дама блондинка оказалась свободной. Я ей рассказал, в чём дело, и попросил задержать для меня место на пароходу. Но дама сперва отнеслась к моим словам недоверчиво и сейчас же позвонила кому-то по телефону. Говорила долго. Я стоял около нея, переживая страх, надежду, отчаяние, радость. Наконец она кончила и кивнула головой: «верно». «Норма» отходит в субботу 16-го. в Антверпен. Сегодня суббота. Приходите утром в понедельник. Всё будет готово».

В понедельник я получил билет, поблагодарил даму-блондинку и покинул туристическое бюро. Выехать мне надо было в Гельсингфорс в четверг, чтобы успеть попасть на «Норму». Финская виза была у меня, словом всё обстояло прекрасно. И вот чуть-чуть моя поездка не пошла прахом. Случайно, совершенно случайно, разглядывая паспорт, я заметил, что на финской визе не было означено, на сколько времени она действительна. Плохой знак. Я немедленно собрался в финское консульство. Дама, заведывавшая визами, увидя меня сложила руки на животе и воскликнула с огорчением.

— Я думала, что вы уже уехали!

— Не мог. На прошлом пароходу, пока я тут возился с вашей визой, всё было занято.

— Что же теперь вы будете делать?

— В субботу идет пароход в Антверпен из Гельсинг-

форса. Могу я поехать с визой, которую вы мне дали несколько дней тому назад?

— Она уже недействительна. Надо новую визу, это займет неделю.

Я почувствовал, как земля у меня уходит из-под ног.

— Но я опоздаю. Сегодня вторник. Я должен покинуть Эстонию в четверг.

— Что-же я сделаю? Мы нансенистам не даем вообще виз, особенно в такое время.

— У меня бесвыходное положение.

Нехорошее чувство мстительность, но в эту минуту всем тем, кто беззащитным нансенистам равнодушно закрывает путь спасения, я от всей души пожелал пережить то, что переживал сам. Не знаю, что-бы я сделал, но я был способен решиться на многое непоправимое, страшное.

У дамы проснулось чувство человечности.

— Подождите, — сказала она и подошла к телефону. Заговорила на непонятном языке. Была произнесена моя фамилия... потом опять молчание... Я понял, что она говорит с Гельсингфорсом о моей визе. Наконец она положила трубку.

— Визу вам разрешают. На ваше счастье я поймала в канцелярии того, кто их выдает. Дайте ваш паспорт.

И перечеркнув старую визу, она шлепнула штемпелем, вписала, что требовалось, снесла на подпись и вернула паспорт.

— Вы можете прожить в Финляндии три дня, — сказала она, — я очень рада, что устроилось всё так быстро. Это счастье, что я застала в кабинете самого начальника. Доброго пути!..

— Благодарю вас от всей души.

Когда я был уже в передней, швейцар догнал меня и, показывая конверт, спросил

— Это не ваше?

Оказалось, что все бумаги и документы я позабыл в приемной на столе. Хорошо, что никто не увидел их и не взял.

— Господи, — сказать мог только я...

* * *

На улице я по-немногу отдышался. То, что пришлось пережить в финском консульстве, было одним из самых сильных переживаний в моей жизни. Напала слабость, я еле дошел до ближайшего кафэ и сел на его террасе. День был солнечный, теплый. Двое молодых людей сидели наискось за моей спиной и вполголоса говорили по-английски. То были, судя по быстрым взглядам на прохожих, по некоторой осторожности и по другим трудно-определимым признакам, — английские шпионы. Как носились слухи, за последние дни изо всех стран их понаехало великое множество. Вероятно тут были и немецкие агенты, и польские, и русские, и всякие другие. Но они меня не интересовали. Я выпил свое кафэ, посидел и ушел.

Теперь, когда уже никаких препятствий не было, я стал спокойнее. Зашел к своим эстонским друзьям, сказать, что я покидаю Эстонию в четверг утром. Дома я застал только хозяйку.

— Ну, что?

— Всё хорошо, — и рассказал ей события этих дней.

— Слава Богу! Только занимать я вас не буду, много дела. А дети куда-то разбежались. Хотите, послушайте радио, пообедайте у нас, как всегда в три часа.

Она ушла, а я присел к радио и совершенно случайно попал на квартет Бетховена. Первые же звуки оторвали меня от той действительности, где я находился, где был страх, тревога, война. Звуки словно из другого мира, из другой сферы бытия, открывали душе страну, в которой было всё земное, но где всё пронизано лучем вечного и чистого. Вот кто-то идет и радуется, что весна,

светит солнце, тепло. И от счастья он поет, танцует, а потом быстро, быстро бежит, бросается в густую свежую траву, обнимает землю, целует цветы и кого-то благодарит за данную ему жизнь.

Обо всём говорила музыка — о человеческой удаче и о горе, о страданиях и блаженстве, для которого создан человек; говорила о любви счастливой и любви неразделенной, о вечных потерях и неустанных исканиях. Говорила о бурях, что бушуют в сердце, и о летних теплых вечерах, когда птицы и деревья готовятся ко сну. Но о чём-бы ни говорила она, выросли крылья за плечами, и душа неслась на ту высоту, откуда шла музыка. Ясно стало, что та страна и есть настоящая родина человека, откуда он пришел и о которой томится всю жизнь.

Концерт кончился. Я потихоньку ускользнул из квартиры. Вечером, перебрав и уложив окончательно чемодан, сел у окна и глядел на синие и красные огни реклам. Дома никого не было. Света зажигать не хотелось. Носились мысли о предстоящем путешествии, о том, придется-ли еще увидеть маленькую, мирную Эстонию, милых друзей, леса, цветущие луга, шумливый по утру базар; очутиться в полном одиночестве тихо-гудящего бора, где пахнет смолой и грибами, услышать далекий колокольный звон... Я был так благодарен этой стране и ее обитателям за тот отдых, мир, покой и привет, что находил здесь. Ведь когда-то маленьким я тут жил, и для меня это были священные по воспоминаниям места. Тихое, невольное волнение охватило душу; я оделся и вышел, чтобы взглянуть еще раз на город, который должен был так скоро покинуть.

Я шел медленно, по знакомым улинам, поворачивая то направо, то налево, бес определенной цели. Липы уже на половину облетели, в киосках виднелись груды румяных и пахучих яблок; при свете лампочки торговки вязали перчатки, а торговцы читали газеты.

Сухие листья с шорохом катились по мостовой,

темнели витрины закрытых магазинов, редкие прохожие торопливо бежали в разных направлениях.

Звонкое и как будто знакомое топание каблучков по тротуару послышалось где-то вблизи. Тонкая фигурка в темно-вишневой шляпе и с большим золотым узлом на затылке шла мне навстречу — наша соседка. Куда она могла идти?

Мне захотелось ее окликнуть, но в эту минуту я забыл ее имя и отчество. Это со мной бывает. Она уже поровнялась со мной, а имя ее не приходило в голову. И вдруг, сам не ожидая я брякнул:

— Мур-Мур, это вы?

Она шарахнулась в сторону и дико на меня посмотрела.

— Бог мой, кто это? — уставилась она на меня...

— Да это вы... Так я Мур-Мур?!

И закинув голову, она звонко засмеялась.

— Да я забыл, как вас зовут. Называл вас Мур-Муром про себя, а больше ничего не мог вспомнить.. Я и свое имя иногда забываю...

— Ха-ха-ха... Взрослый человек... Как можно забыть свое имя?

— Не знаю... А сегодня у меня это от радости... Всё уже готово, в четверг я уезжаю из Эстонии, а в субботу из Гельсингфорса отправляюсь в Бельгию.

— Слава Богу... А если на пароходе или на границе вы забудете ваше имя?

— Не говорите... Куда это вы так самостоятельно шествуете?

— От семейного очага ушла... Волей подышать... Я сегодня письмо писала брату, что со мной редко бывает, папа подошел — спрашивает, кому пишу... Сказала... О чём пишу? — Не знаю... Обиделся, ушел... Пришла почта. Получила два письма. Прочла, положила... Папа ходит около меня, ходит, ходит... И потом вдруг так нежно спрашивает, — от кого, Ириниш-

ка, получила письма? Ах ты, Господи!.. От родителей учениц...

— А о чём они пишут?.. — Папочка, — кричу ему на ухо, — я уже давно совершеннолетняя, замужем, директриса школы; неужели я не могу писать и получать писем? Так и не сказала, о чём мне пишут... Потом муж пришел с работы раньше времени, за щеку хватается... — Что такое? — Зубы болят, флюс разыгрывается. Компрессы, припарки, полоскание... А папа ревнивый. — У меня нога опять ноет... Ему, значит, повязку переменить... Переменила. И говорю моим мужчинам: как знаете, у меня целый день сегодня уроки, я устала, хочу проветриться, пойду к Дексеевым. Ужинайте без меня... И оставила их... Муж лежит и мычит, а папа за ногу стал хвататься. Это чтобы я не уходила. А я, всё-таки, ушла. А вы куда идете?

— Да никуда.

— Пойдемте к Дексеевым. Они будут рады.

И мы пошли вместе.

— Не забыли, как зовут madame Дексееву?

— Юлия Митрофановна.

— Ее помните, а меня забыли. Но я не ревную. Мур-Мур... Ха-ха-ха...

— Мур-Мур серебряные ножки, — добавил я.

Так со смехом мы пришли в гости.

Хозяйка, Юлия Митрофановна, закричала от радости и бросила яблочки, что чистила для компота.

— А сам пошел куда-то за медом, обещал принести большую банку, — объяснила хозяйка. Узнав о моем скором отъезде, она сейчас-же написала открытку своим друзьям в Гельсингфорс, с просьбой приютить меня на несколько дней, и передала ее мне.

— Опустите сегодня-же вечером... Завтра ее там получают, а в четверг вас будут ждать у пристани. Признак приятельницы — глаза, перед которыми нельзя устоять... Черные, большие, ласковые...

Никто не заметил, как пришел хозяин и, стоя на

пороге, с удивлением смотрел на собравшуюся компанию.

Юлия Митрофановна вздрогнула.

— Ох, ты меня испугал. Принес меду?

— Принес, в кухне поставил. Пойдемте чай пить.

Перешли в столовую, занялись чаем с медом. Потом слушали сообщения по радио, вспоминали деревню, быстро минувшее лето; как мы все перезнакомились, как ходили за молоком, грибами, собирали цветы. И это коротенькое прошлое нас всех объединило. Грустно было думать, что вот налетит буря, и что будет с каждым из нас, что будет с тихим краем, где люди жили так мирно и уютно, никому не мешая, жили, как в раю?

Завидев на дворе час десятый и ночных сторожей, разошлись по домам.

— Так не забудьте, завтра вечером к нам, — сказала на прощанье Ирина Михайловна.

Последний день...

Я взобрался на Вышгород и долго глядел на соседнее море, на острова, на синевшие вдаль леса. И с особой любовью на вокзал, куда с такой радостью мы приезжали в Эстонию; милый уютный вокзал, где было столько дружеских встреч и провожаний, откуда мы ездили и в Печоры, и в Гапсаль. Потом последние визиты, последние слова.

Вечером у Ирины Михайловны. Она еще не вернулась. Ея отец, в мягких туфлях, ходит по комнате, и мы беседуем о предстоящем путешествии. У него чувство, что я доеду вполне благополучно, но я вижу, что он всё-таки беспокоится; и в голосе, в глазах есть нечто, что меня трогает. Сперва он уговаривает меня не бояться перезда и мин, а потом незаметно переходит к тому, как он починил мост, забыл уж, через какую реку.

— Начальник дороги собрал инженеров и сообщил, что обрушился пролет на мосту; если его быстро не починить, то сообщение с Кавказом будет прервано.

Один инженер путей сообщения брался исправить его в две недели, другой в неделю, а когда обратились ко мне, я сказал, что мост берусь кончить в двадцать четыре часа. И объяснил: балки, которые нужно замечать, работали на растяжение...

Последовал подробный разбор моста, основ его построения, в физических и математических тонкостях, из которого, признаюсь, я мало что понял.

— Действительно, мои мастера исправили мост в одне сутки, — и старик с гордостью посмотрел на меня,

Щелкнул ключ, хлопнула входная дверь, застучали каблучки...

— Папочка, ты один? — раздался громкий голос, и в комнату влетела веселая, как синичка, Ирина Михайловна.

— А... вот хорошо... Папочка, теперь ты уступи мне гостя... Разложи пасьянс; я с ним немножко поговорю и потом опять тебе его верну.

И уведя в свою комнату, Ирина Михайловна усадила меня на диван, а сама села напротив.

— Перемен нет? вы завтра едете?

— Еду.

— Так. Жалко с вами расставаться. Полюбили мы наших соседей. Но что-же делать?.. Была я на могиле у мамы, потом зашла в церковь ко всенощной. Народу мало; стояли и просили Бога о мире, о спасении путешественников, об избавлении людей от голода, мора, потопа, огня, меча... Как это теперь близко сердцу!.. А вот вам на память, мой дорогой друг, — образок чудотворной Печерской Божией матери. Пусть Она хранит вас в дороге и на всех путях ваших, от всех опасностей — вас и вашу милую дорогую жену. А теперь — помолчим. Молчали оттого, что то, что хотелось сказать, не вмещалось в слова. Тронутый и взволнованный душевным вниманием и заботой обо мне и о близком мне человеке, я глядел на спокойный и ясный лик

Богоматери. То был лик человеческий, достигающий высоты божественного. А божественное проявляло себя, как высшее человеческое. И это высшее человеческое было понятно, близко, доступно. К нему с полной надеждой можно было прийти со своим земным горем, рассказать о своей боли, обратиться с мольбой. Скорбящий лик Ея — сама утешительная ласка, стена, на которую можно опереться, заступничество. Ей было доступно всякое чудо.

Сила и твердость сошли на меня. Я встал и бес слов поцеловал маленькую руку. Сияя лицом и глазами, Ирина Михайловна коснулась губами моего лба.

ГЛАВА VII

ОТЪЕЗД

Эту ночь я спал спокойно, без всяких тревог. Проснувшись рано утром, окончательно уложился... А учительница француженка приготовила обильный завтрак, чтобы до самой Финляндии не хотелось есть. В девять часов позвали такси. Когда я уже садился, приехали с дачи Горбачевы. По моей просьбе они на пристань не поехали. Вышла и эстонка, их жилища. Со всеми попрощался, расцеловался, все были взволнованы, крестили на дорогу, крепились...

День был серый, облачный, дул ветер. Пока ехали, быстро мелькали знакомые места, дома, улицы... На пристани, в пассажирском зале, стояло несколько человек с чемоданами, в ожидании посадки на пароход. А у конца мола белелось маленькое суденышко «Ледна»,

которое должно было отвезти нас в Финляндию. Стоя в очереди, я глядел в окно на холодное море, думая Бог знает о чём.

— А я пришла вас проводить, — сказала я появившаяся Ирина Михайловна. Даже больше — я вас на пароход посажу.

— Вас не пропустят.

— Кого не пропустят, а я пройду.

Дверь открылась. Уезжавшие схватились за чемоданы и, выйдя на мол, направились к «Ледга». Я был самым последним. Показал у столика свой паспорт и прошел на мол. Провожавших не пускали. Но Ирина Михайловна подошла к какому-то моряку, поздоровалась с ним, что-то сказала, и её пропустили.

— Вот видите...

Пароходик был малюсенький; я поставил свои вещи на скамейке, как и другие пассажиры, и сошел на берег, к ожидавшей меня Ирике Михайловне. Она была немного грустна и задумчива. Выглянуло солнце и осветило её.

Тоненькая, стройная, в темно-вишневой шляпе, оттенявшей золотые волосы, она походила на цветочек на длинном стебельке.

— Вы стали мне близким, своим, потому что так чисто по-человечески отнеслись ко мне, потому что поняли и мое отношение к моему искусству. Я — маленькая, брошенная в жизнь женщина, и вашу душевную поддержку ценю и люблю, она делает меня сильнее. Вот откуда моя дружба...

Я глядел на молодую женщину и, кажется, только в эту минуту постиг, как ей приходилось подчас тяжело.

Ей надо было сказать что-то утешительное. Вспомнилась трудная жизнь двух любимых великих музыкантов.

— Милый Мур-Мур, вы знаете, какая жестокая судьба была у Моцарта и Бетховена? Моцарт — гений по происхождению, тонкий, прозрачный, как кружево,

жил всё время в зависимости от сильных мира сего: они пинали его ногой, сажали за отдельный столик... Умер он в такой бедности, что похоронили его в общей могиле. Теперь-же те, которые помыкали им, сгинули бесследно, а Моцарт сияет и будет сиять, утешать, восхищать... Бетховен тоже перебивался с хлеба на квас, написал девять симфоний, семнадцать удивительных квартетов и испытал самое тяжкое, что может свалиться на музыканта, — потерял слух; многие вещи писал уже по слуховой памяти. А когда исполняют его творения, словно входишь в храм, прекрасный, светлый, где сама молитва уже радость; его грусть близка и понятна; а то уйдет он на луг и других с собой возьмет — послушать, как звенят колокольчики. И как за эту радость их обоих любят, как им благодарны, за то чистое, высокое наслаждение, что они дают. А если-бы Моцарт и Бетховен сошли бы с вершин творчества, да стали-бы писать какие-нибудь шансонетки?... Вы можете себе их представить авторами кэк-уона или фокс-трота? Есть еще в Лувре Венера Милосская с отбитыми руками, наполовину обнаженная. Когда смотришь на нее, чувствуешь, как благодать особая почилла на этом мраморе, благодать от прекрасного. Когда будете в Германии, побывайте непременно в Дрездене, сходите повидать Сикстинскую Мадонну. Из ее глаз исходит сияние... Искусство должно быть чистым и высоким, без этого нет прекрасного; искусство и есть преображение земного в небесное, нахождение прекрасного даже в обыкновенных маленьких вещах. Творящий должен быть строгим, чтобы не пропустить низменного... Строгость к своему делу — черта настоящего художника...

И вдруг я осекся. Мне стало стыдно своего поучительного рассуждения.

До отхода парохода оставалось несколько минут. На очистившемся небе темнела остроконечная колокольня св. Олафа. Над мутной водой носились белые чайки

и затрепетаѣ останавливались на миг в воздухе; иногда подставив размах крыльев ветру, уверенно взвивались вверх, делая плавный поворот, и стрелюю проносились над волнами.

— Что-же вы замолчали?

— Совестно стало. Показалось, что впадаю в дидактический тон. Все мы люди, все человеки, можем ошибаться, завидовать, осуждать. Пусть каждый делает свое, как ему кажется лучшим... А там, как будто, нас поджидают.

У таможни перед веревкой, за которой стояли провожавшие, кто-то махал в нашем направлении платком.

Подошли. То были наши друзья эстонцы, муж и жена. Меня тронуло их внимание, но они не могли прийти к нам, ни мы к ним. Поговорили на некотором расстоянии. Хотелось им сказать, что, что-бы ни случилось, я всегда буду помнить их, ценить за дружбу, любовь, готовность помочь; что это благодаря им мы попали в Эстонию, и время, проведенное здесь, одно из самых счастливых в нашей жизни. Много, многое хотелось сказать, но в такие минуты слова не находятся, да, может быть, они и не нужны.

А время шло. Погрузка кончилась. Надо было садиться на пароход. Помахав им и сказав последнее «прощай», мы расстались. Они поехали домой, а я в сопровождении Ирины Михайловны направился к «Ледне». Крепкое пожатие, несколько шагов по гнущимся сходням, и я на пароходе. Сходни убирают. Свисток, пена под кормой, пароход отходит от мола. Мелькают какие-то быстрые мысли. Ирина Михайловна крестит меня, я машу платком, мол удаляется; мы идем мимо больших пароходов, скучных задумавшихся, безжизненных. Тонкая фигура на пристани уменьшается, а над городом, гаванью, берегами подымается острая колокальная святого Олафа. С моря врывается ветер. Поворот — гавань, таможня, люди, скрываются, пароход уже в открытом море. Идем не спеша. Нас про-

вожакт песчаные берега, поросшие темным лесом, среди леса виднеются дачи; проходим мимо буя конической формы, — буй вздымается на волнах и гудит. За бум длинный лесистый остров, на котором мы были когда-то большой счастливой компанией в ясный солнечный день. За этим островом дом наших друзей, на самом берегу, под большими черемухами. Как мы там купались, как грелись на солнце!.. Теснятся воспоминания, сердце тоскует о прошлом, любит его, стремится к нему. Но не вернуть его — умчалось неизвестно куда. О, жизнь человеческая, о, счастье минувшее!..

Остаются позади островки, впереди желтоватое море. Короткие волны хлопают о борт, пароход слегка перекачивается. В каюте на корме все диваны заняты; для меня и для других зевак только открытая палуба. Но тут прохладно. Нахожу дверь, что ведет вниз. Спускаюсь — столовая; за столом сидят какие-то полные мужчины и дамы и, пренебрегая качкой, с аппетитом едят. Я снова выхожу наверх и, найдя закрытое от ветра местечко, сажусь. Время тянется медленно. Около меня присаживается молодой человек, к нему подходит другой, и они начинают говорить по-французски. Потом куда-то уходят. От качки начинает болеть голова. Я ложусь на скамейку, кладу голову на чемодан, дремлю... Но ветер прохладный, я начинаю бегать по палубе; другие тоже. Разговоров нет, знакомств не заводится. Устав, присаживаются отдохнуть. До Гельсингфорса четыре часа езды. Я часто вынимаю часы, считаю, сколько еще осталось. Думаю, встретит-ли меня на пристани знакомая Дексеевых, или нет. Если нет, как устроиться в городе, где говорят на совершенно незнакомом языке. Потом вдруг вспоминается ёжик, который приходил на компостную кучу, посмотреть нет-ли чего съестного. Он был очень симпатичный и любил поест. Затем пришла тревожная мысль — что будет в следующем году с сосенками? В это лето на их хвое появились какие-то гусеницы; оне плотными гроздьями облеп-

ляли концы веток, отдельные иглы и до тла съедали их. Откормившись, оне падали вниз, где вероятно зарывались в землю, чтобы весной превратиться в какую-то бабочку. Эти бабочки летом должны были нанести яиц, яйца — превратиться в гусениц, пожирающих хвою... Беда сосенкам!..

Из низа парохода вышел католический священник и принялся ходить по палубе. Когда он проходил мимо меня, сутана приятно шуршала. Рослый, прекрасно одетый, он глядел на палубу, на море, на людей взглядом, какой бывает у человека, чувствующего свое превосходство... Я долго наблюдал за ним. И, прости меня Бог... Каким варваром должен был-бы ему показаться русский священник в мужицких сапогах, в заплатанной рясе, с мозолистыми руками, который косит, пашет, сеет, совершает требы, собирает по пяткам благостыню и в работе забывает то, что учил в семинарии.

Что-бы делал такой, несомненно прекрасно-образованный священник в деревне, или на селе? И кто был ближе к природе, к Богу, к людям — он, или русский батюшка, которому дали унижительную кличку «попа»? У того было больше человечности, знания, что такое простой труд, снисхождения к человеческим слабостям, не потакания, а именно снисхождения? Бедный русский батюшка, смиренный, зависимый от всех, осмеянный со стороны тех, кто думал устроить человеческое счастье без Бога, бес взгляда на небо, этот русский священник безропотно нес бремя своего служения. И только страшные испытания, постигшие нашу родину, открыли многим глаза, что и в кафедральных, и маленьких сельских храмах творилось настоящее дело, большое и святое; что в них возвещалась истина необходимая миру, истина, бес которой люди не могут жить свободно и счастливо, становятся сами хуже, чем звери. Всё творимое, как в богатых храмах, так и в самых бедных, совершалось в такой красоте и возвещалось такими

простыми, такими углубленными словами, что отступали прочь заботы жизни, сходил в душу утешающий отдых, открывался просвет в мир иной... А многие-ли знали, какие сокровища духа и божественной любви несли нам церковь?

Задумавшись над собой, над своею судьбой, над равнодушием и непониманием людским, не один, может быть, служитель Истины повторял слова: И Тому повем я печаль мою...

В волнении я не заметил, как патер подошел и сел около меня. Сел, посмотрел раз, два и вдруг спросил:

— Вы русский?

— Русский.

— Я то-же говорю по-русски. Немного, но понимаю всё. Вы православный вероятно?

— Православный, и очень привязан к православию.

— Это похвально. Не знаю, как вы думаете, но я считаю, что в эти тяжелые времена объединение церквей самая желательная вещь.

— Объединение, но не подчинение, отец.

— Вы, вероятно, настроены против католицизма? — спросил он помолчав.

— Я его недостаточно знаю, чтобы быть судьей. Но в нём есть черты, для меня неприемлемые — властолюбие, уверенность, что только в нём вся полнота истины. Для меня, отец, самый тяжкий грех — это отнять свободу духа. А не стремится-ли к этому католицизм? Когда он обладал властью — была инквизиция, были костры. Кто поручится, что не может повториться что-нибудь подобное? Даже Бог не посягнул на волю человеческую, а католицизм посягнул — люди должны иметь только его волю, поступать и мыслить только по канонам католической церкви.

— Каноны и правила должны существовать; бес этого человечество впало-бы в ужасные ереси. Вспомните, в самом начале христианства, когда не были выработаны каноны и принципы, какие ереси и заблужде-

ния существовали в христианстве; возьмите для примера гностиков, монофизитов, монтанистов и разные другие секты. Нет, духовенство должно вести людей по пути, предложенному отцами церкви. Свобода в религиозной мысли поведет к умножению сект. В Америке существует что-то около 3.000 различных религиозных общин, а что у них общего с христианством?

— Согласен с вами, отец. Однако, если католицизм имеет свой путь, догмы, принципы, то и православие имеет свои и также считает их истинными. Но православие терпимо к другим религиям. Я бывал в синагогах, в католических храмах, в лютеранских, и какому русскому иерарху могла-бы прийти в голову мысль запретить мне это? А католикам запрещено посещать православное богослужение. Возьмем настоящее время — папа приютил у себя в Ватикане евреев, непримиримых врагов христианства, а что сделал Ватикан для гонимых священников православных? Скажите, прямо, отец, учите вы терпимости и снисходительности своих пасомых?

— Никакая религия не учит терпимости к другой. И у православия были гонимые, ваши староверы, духоборы, хлысты...

— Это верно, полнота истины только у Бога — Бога человеком невозможно видеть; земной церкви она дана благодатно, как идеал, Христос путь истины; приближение к ней возможно только постоянным устремлением, молитвой. Не происходят-ли восстания против власти латинской церкви во имя свободы мысли? Так мне думается, утверждать не берусь, я не богослов. Что я вижу в католицизме, это стремление заставить человека повиноваться, это значит — лишить его свободы. И те, кто держатся за свою свободу воли, за право свободного исследования всех вещей — отходят от вас, делаются врагами католичества, врагами непримиримыми. Возьмите франк-массонов — это часто люди глубокой нравственности,

не смогли примириться с духовной уздой. Скажу вам прямо, отец, если-бы я родился католиком, я бы стал, вероятно, атеистом.

— Духовная узда необходима. Один человек без нея вреда не принесет, а другой — наделает бед. У Ленина и Тамерлана не было духовной узды, и вот Ленин раззорил Россию, а Тамерлан превратил в пустыню цветущий Туркестан и Месопотамию. Узда должна быть.

— Тут уже вопрос идет, отец, об очень глубоком и потом неразрешимом — об антиномии личности. Признать свободу неограниченной — тогда от посылки к посылке, от вывода к выводу и в заключение — человеческое своеволие, дикое, страшное, губящее.

— Я так и понимаю.

— Но подчинение или повиновение со ступеньки на ступеньку ведет в последнем счете к духовному рабству. Какая же цена римскому послушанию? Богу нужен свободный приход к Нему человека, по великой любви — Возлюби Господа Бога всем сердцем и всею душою... Только на пути свободы человек встречается с Богом, началом сдерживающим и просветляющим; на путях подчинения нет настоящей любви, Бог заслоняется человеческой волей.

— Вот в какие метафизические глубины мы погрузились, — заметил патер, — жаль, нельзя продолжать разговор, уже финский берег виден.

Из капитанской каюты вышел человек в форме и объявил, что сейчас будут раздавать паспорта, отобранные при посадке.

Когда я получил свой, патера на палубе уже не было. Около капитанской каюты стояло четверо молодых людей — двое были те самые, что говорили по-французски, а других я видел в первый раз. Все они держали и рассматривали полученные паспорта, и к моему удивлению — паспорта все были нансеновские. Хотелось их спросить, куда они и откуда, но вся эта компания

держалась так явно в стороне, что я не решился. Тонкая четкая линия, появившаяся на желтовато-мутной воде у горизонта, удлинялась и приближаясь распадалась на маленькие кубики; городские кварталы в свою очередь расчленились на отдельные дома. Прошли мимо островка из цельной скалы; низкое здание, маленькие окна, бойницы говорили, что это по всей вероятности форт.

Подожли к набережной из сероватого гранита. Пароход остановился, бросили сходни, стали сходить. Я стоял позади прибывших и разглядывал стоявшую за веревкой кучку встречающих. Дама в синем мантио, в шляпе с низко опущенными полями, внимательно следила за выходящими. Мне показалось, что эта дама и есть подруга Юлии Митрофановны, пришедшая встретить меня.

Я направился к выходу, раздумывая, ошибся-ли насчет дамы в синем мантио, или нет, и узнаю-ли я «глаза, против которых нельзя устоять». Как раз за дверью таможни я неожиданно встретил ее. Мы оба внимательно посмотрели друг на друга. У дамы действительно прекрасные черные глаза, ласковые и добрые. Я невольно улыбнулся.

— Вы подруга Юлии Митрофановны?

— А вы ее знакомый?

Так состоялось наше знакомство, и мы пошли к трамваю. С первого момента, с первого взгляда я почувствовал себя хорошо — дама оказалась человеком с золотой сердцевинкой. Говоря о текущих событиях, мы прибыли незаметно на место. Евгения Эрнестовна жила со своей дочкой в маленькой квартире, но где всё имелось, что нужно, всё блестело, всё чисто и уютно по-фински. Комната для меня была уже устроена, кровать готова; ничто не было забыто.

За кофе я рассказал о своих хождениях по консульствам всех стран за визами, как меня встречали, и как ничего не выходило.

Узнав, что у меня взят билет на «Норму», хозяйка забеспокоилась, встала из-за стола и пошла справиться по телефону в конторе, отойдет-ли пароход, как было сказано. Вернулась она минут через десять радостная.

— Пароход отойдет, как было назначено, в субботу, в четыре часа дня. Теперь время такое, что могли и отменить.

В сумерки пришла дочка хозяйки, белокурая, бодрая, очаровательная девушка, служившая в каком-то учреждении.

Говорили о том, что в Финляндии пользуются правом гражданства два языка, финский и шведский. Шведский — язык господствующего слоя, буржуазии, а финский — язык народный; газеты издаются на том и другом языке, но сами финны — коренное население — часто не понимают шведского. В городе уже чувствуется недостаток некоторых вещей, благодаря войне, но все-таки можно найти необходимое. Есть страх перед приходом большевиков. Из-за недостатка угля прекратили отопление, но, кажется, с завтрашнего дня топить, всё-таки, будут.

— А завтра мы пойдем к моей сестре, — сказала Евгения Эрнестовна, — теперь же, я думаю, вам следует отдохнуть и выспаться.

За ночь дождь перестал; я проснулся рано, мои хозяйки уже шевелились за стеной. Услышав, что я встаю, мне предложили немного подождать, чтобы принять ванну — отопление начало действовать.

После утреннего кофе, дочка отправилась на службу, а Евгения Эрнестовна пошла со мной показать мне город. В Финляндии я еще никогда не был и с любопытством смотрел на незнакомые мне места. Каменные; прочной стройки дома, прекрасные магазины, широкие и чистые улицы, прилично-одетая толпа, производили успокаивающее впечатление. Чувствовался камень и упорный, гигантский труд, превративший скалу в дома, улицы, мостовые.

— Когда строят новое здание, — объяснила Евгения Эрнестовна, — то фундамент для него приходится делать в сплошном граните; тяжелая работа...

Зашли в контору пароходства, которому принадлежала «Норма». Высокая голубоглазая служащая подтвердила, что точно, пароход отправится в назначенный день и час, что он сейчас грузится целлюлозой и маслом для Бельгии. Потом подошел служащий с картой и показал маршрут парохода.

— Вы поедете вдоль финских берегов, потом шведских, войдете в проливы, через Скагерак выйдете в Северное море и, пройдя до половины, свернете на юг к Антверпену. Опасности нет, не беспокойтесь.

Посмотрев билет, сделав на нем какую-то пометку, отдал обратно и пожелал счастливого пути. Зашли еще в банк, разменять эстонские деньги на финские, а оттуда на главный почтамт, навести кое-какие справки. Здание почтамта меня удивило: громадное в восемь или десять этажей, оно занимало целый квартал. Помещение, куда мы вошли, представляло собой огромную залу с высоким потолком и теракотовым полом. Посетителей было много, но из-за величины залы тесноты не замечалось, ждать никому не приходилось, так было много окошечек, где давали любую справку.

— Ну, как вам понравился наш почтамт?

— Мне кажется, что он слишком велик для такой маленькой страны. Такого я еще нигде не видел. И так всё скоро делается... Цивилизованная Европа может позавидовать и поучиться, как делать жизнь удобной, дешевой и приятной.

— Жизнь здесь, действительно, удобна и приятна.

— А если большевики придут сюда, как они всё изгадят и разорят!

Евгения Эрнестовна махнула рукой.

— Всё пойдет прахом — и удобства, и дешевизна, и чистота, и чистоплотность. А они могут сюда прийти...

Пройдя несколько улиц, мы вошли в подъезд боль-

шого дома, поднялись на лифте, позвонили... Нам открыла дверь дама — тоненькая, худенькая, с овальным лицом и быстрыми движениями. То была сестра Евгении Эрнестовны.

Оне не были совсем не похожи друг на друга. Однако, если мою хозяйку можно было сравнить с дамой треф, то ея сестра походила на даму червей. У нея были прекрасные золотистые волосы, удивительно привлекательное лицо, светлые огромные глаза. Смешанных кровей, от польского, русского и французского она взяла самое лучшее. Польская грация, французская изысканность, русская золотая сердцевина. Её можно было-бы назвать красавицей, если-бы ея очаровательность не затемняла ея красоты. Сразу-же, как старый добрый друг, она принялась меня расспрашивать о моих обстоятельствах; узнав, что я страдаю от качки, она сказала, что принесет мне на пароход пилюлю от морской болезни.

— Если только не будет приступа болей: у меня не всё благополучно с аппендиксом, — предупредила она.

Принесла потом книгу, написанную ея мужем, бывшим гвардейским кавалеристом. После революции она и ея муж, швед по происхождению, побывав в Южной Америке, обосновались в Финляндии и сделались финскими гражданами. Книга — история полка, где служил ея муж, была написана на непонятном мне языке, но в ней имелось много прекрасных фотографий. Пока я рассматривал её, Зинаида Эрнестовна рассказывала о том, как убежав из России они жили в Бразилии и как оттуда приехали в Гельсингфорс. Расспрашивала, как мы живем в Париже, расспрашивала с искренним участием. Узнав, с каким трудом я получил визу, и чем грозило мне, если-бы я ея не получил, она взволновалась и взяла с меня обещание, что если мне что-нибудь нужно будет в Финляндии, я непременно напишу ей.

— Я боюсь теперь только одного, — высказал я свое опасение, — что мало-ли по каким причинам «Норма» не дойдет до места назначения и вернется обратно. А в Гельсингфорсе мне не позволят сойти на берег, так как виза у меня только транзитная.

— Тогда через капитана, матроса, или по телефону дайте мне знать, я постараюсь всё устроить. Вы не беспокойтесь.

Подали чай; разговор переходил с одной темы на другую. Война, ее последствия, опасность большевистского нашествия, житейские мелочи, и наши русские печали — всего коснулись мы в беседе. У всех троих обнаружили нити, связывавшие с Россией, с ее когда-то привольной и обильной, полной поэзии жизнью.

Обе молодые еще женщины, в прошлом когда-то богатые, вращавшиеся в большом свете, не жалели погибшего состояния. Для них, как и для громадного большинства русских изгнанников, была важна только одна вещь — сила и величие России. На прощание мы условились с Зинаидой Эрнестовной встретиться завтра на пристани.

Выйдя на улицу, отправились на поиски «Нормы»; нашли её в конце гавани, ошвартованной у гранитной набережной. Пароход был небольшой, толстенный и крепенький, как показалось мне, несведущему в морском деле: какой-то человек в фуражке с якорем еще раз подтвердил, что «Норма» отойдет завтра.

ГЛАВА VIII

« Н О Р М А »

Проснувшись рано утром, я глянул в окно; день был тихий, солнечный. Приняв ванну и отдохнув за кофе, я отправился с моей черноглазой хозяйкой погулять по Гельсингфорсу в последний раз. Еще яснее стало, каких трудов стоило воздвигнуть этот город на холодном севере.

В три часа мы были уже на пристани. Евгения Эрнестовна сама разузнала на пароходе, где находится моя каюта, помогла даже снести вещи. Каюта оказалась маленькой, но очень чистенькой и удобной, на две койки с диваном. Всего было только шесть кают; моя, самая последняя, выходила в столовую, устланную коврами; на столах — белоснежные скатерти, в вазах цветы; всё свежо, мило, уютно.

Оставив вещи, мы вышли на берег; пароход еще грузился. По бортам стояли валы из целлулоидных кип, а между кипами высилась гора деревянных ящичков с маслом.

В ожидании гудка мы ходили по набережной, выглядывая, не покажется-ли сестра Евгении Эрнестовны. Ея долго не было. Около парохода стояла кучка провожавших; целовались, обнимались, плакали, смеялись. Пробовали разгадать — кто из этой кучки едет, и кто остается, но никак не могли и отошли подальше. В эту минуту из-за большого кирпичного сарая показалась сильно торопившаяся Зинаида Эрнестовна.

— Наконец то нашла вас, долго искала... Вот вам пилюли, — принимайте перед сном; это вас успокоит. К сожалению должна уйти — аппендикс дает себя знать. Разрешите я вас перекрещу на дорогу... Ну, Господь с вами, милый друг, да хранит Он вас на суше и на море... для вас самого, для ваших близких...

Взволнованный неожиданно найденным человеческим участием, я глядел, как удалялась от нас гибкая фигура походкой человека, испытывающего сильную боль.

Раздался сзывающий пассажиров гудок, и мы с Евгенией Эрнестовной направились к пароходу. Перед тем, как войти на сходни, я снял шляпу, поцеловал руку моей гостеприимной хозяйке, поблагодарил за всё и уже последним поднялся на палубу. Сходни сейчас-же убрали. Тихо и плавно тронулись с места. Долго виднелась на набережной прямая фигура Евгении Эрнестовны. Долго я ей махал платком; потом пароход повернул; набережная, большие красные сараи исчезли, город понемногу отходил, теряясь в желтоватой дымке; прошли мимо островка с фортом и вышли в море. Дул маленький свежий ветерок, вода цвета дымчатого топаза хлюпала у борта; стаи чаек, блестя, как комочки снега, летали над нами и кричали хриплыми голосами. Белый флаг с синим крестом чуть шевелился на корме. Два полотнища с такими-же крестами были

разостланы и закреплены поверх груза, впереди и позади высокой, черной и теплой трубы. На правом и на левом борту нарисованы такие-же кресты — знак для воюющих сторон, что пароход нейтральный. На душе было печально и радостно. Радостно, что я еду, наконец, к близкому и дорогому человеку, измучившемуся в ожидании моего приезда; а печально — расставаться с тихими прелестными местами, с блаженной мирной жизнью, с сердечно расположенными людьми. Протянулись серебристо-золотистые ниточки к тому, что скрывалось вдали. И этих ниточек нельзя было порвать. Слышался пчелиный гул на вересковом цветущем лугу, проходили перед глазами лесные дороги, спрятавшиеся в тени малюсенькие грибочки, цветущий тимьян, звездные великие ночи, покойно-величавые закаты, радостные утра, когда на цветах еще дрожит роса, и тянет от бора незабываемым густым, дающим наслаждение настоем. Память тихо склонялась к этим воспоминаниям, сердце любило их, и благодарило, посылало прости, спрашивало судьбу — придется-ли еще увидеть эти места, насладиться свежим дыханием севера. Я видел около себя милых, ставших близкими людей, видел Дексеевых, легкую на серебрянных ножках Ирину Михайловну, заботливых Горбачевых, старых друзей Штромов, спокойную, как глубокая вода, мою финскую хозяйку и ее сестру — тонкую, изысканную и быструю, как каскад, падающий с горных вершин.

А машина, мягко постукивая, уносила нас всё дальше и дальше. Я поднялся на капитанский мостик. Молодой человек, прилично одетый, круглолицый, с круглыми глазами, и круглым носом и сам весь круглый, сидел на скамейке и покуривая вопросительно-ожидательно посмотрел на меня — видимо, ему хотелось заговорить. Зная, что финны охотно говорят по-немецки, я по-немецки спросил его, куда он едет.

— Нах... нах... ин Парис...

Решив, что если человек едет в Париж, то он хоть немного знает по-французски, я переспросил его.

— Vous allez á Paris?

— Вуй... Paris, Frankreich...

Разговор таким образом завязался.

— Ву ду?.. спросил он меня. Я понял, что он спрашивает откуда я.

— Из Эстонии.

— Ву эстоние?

— Я русский, живу в Париже.

— Ах... русс, эстонien... Муа... — и дальше ничего не понять...

Я заинтересовался. Ехать в Париж в такое время, когда и визу-то невозможно получить...

— Вы там работаете?..

— Вуй, нон...

— Вы к родным?

— Нон... вуй... эстонien...

Я глядел на сидевшего и думал, кто бы он был? Служащий, или рабочий где-нибудь, какой-нибудь редкий специалист, которого вызвали? Не похоже как-то. Тайный агент? Но с таким языком? Дипломат — невероятно. Никакой тонкости дипломатической. Если бы это был эстонец, я бы видал его на «Ледне». Должно быть финн.

Наконец молодой человек поднялся, бросил папиросу за борт, улыбнулся мне и сошел вниз.

Я остался на мостике. По концам его были две будочки, вероятно, чтобы прятаться от непогоды; в каждой будочке имелся ящичек с биноклем. Вахтенный офицер ходил взад и вперед между этими будочками и поглядывал иногда вперед. Посередине стоял матрос у штурвала и, поглядывая на компас, вертел колесо. За штурвалом находилась святая святых парохода — навигационная каюта; через круглое окошечко были видны карты, барометры, какие-то аппараты...

День кончался, солнце заходило кроваво-тусклое.

Раздался гонг к ужину; я сошел в свою каюту, переоделся и вышел в столовую.

Пожилая прислуга в черном платье и белом переднике, похожая скорее на южанку, чем на женщину с севера, указала мне стол и место. Всего было занято три стола. За одним столом две дамы в обществе какого-то человека, напоминавшего аташе посольства, за другим — чета туристов, возвращавшихся из Финляндии, и тот самый молодой человек с круглым лицом, который ехал в Париж.

Моими застольными соседями оказались юноша с симпатичным открытым лицом и двое молодых людей, очень скромно державшихся; оба они были одеты как-то странно — в подобие рабочего комбинезона из черного сукна. Они тихо разговаривали между собой на незнакомом языке.

— Вы, кажется, говорите по-французски, — спросил я юношу, сидевшего напротив меня, вспомнив, что перед отъездом он держал в руках французский журнал.

— Не только по-французски, но и по-русски — ответил он, — я *refugié russe*, живущий в Бельгии, а в Финляндию езжу каждое лето к родным.

— Мы, значит, соотечественники, я тоже *refugié*, живущий в Париже. По фински вы говорите? Мне трудно объясняться с прислужгой. Она ни по французски, ни по-немецки, ни по-английски не понимает.

— Тут прислуга говорит по-шведски; когда вам нужно будет что-нибудь, скажите мне; постараюсь объяснить.

Обед был обильный и вкусный. После мороженого, прислуга что-то сказала нам.

— Кофе подадут в салоне наверху, — объяснил юноша.

Салон, находившийся как раз под капитанским мостиком, представлял большую четырехугольную каю-

ту с мягкими диванами и креслами; в каждом углу стояло по столику.

— Как вы живете в Бельгии? — спросил я юношу за кофе.

— Я кончил там лицей и теперь в университете на горном отделении. Кончу — уеду в Бельгийское Конго, по всей вероятности буду там работать. России не знаю, я родился в Финляндии.

Потом разговор перешел на войну, на мины, на устойчивость пароходов; коснулись теории относительности и закончили особенностями человеческих языков.

Его начитанность, знания и больше всего скромность — в нём было много детски-чистого и простого — привлекали к нему и делали его общество приятным.

— В какой комнате вы помещаетесь? — спросил я.

— Номер пятый, вместе с этим, — и он кивнул в сторону круглолицого, попивавшего кофе и улыбавшегося — неизвестно чему.

Я рассказал студенту о моих безуспешных попытках заговорить с круглолицым.

— Распрошу его, когда будем ложиться спать.

После кофе мы вышли на палубу. Ветер разогнал тучи, звёзды горели на холодном небе. Темнел берег с правой стороны, флаг на корме был ярко освещен. На капитанском мостике, взад и вперед ходил вахтенный. Штурвальный в непромокайке стоял у колеса, поглядывая на освещенный компас. Было темно, тихо, спокойно. В таинстве звездной ночи невероятным казался гром войны, томящиеся в смертельной тоске люди. То, что захватывало сейчас мир и что должно было неминуемо еще углубиться и расшириться, не походило на предшествовавшие войны. Апокалипсическое, страшный суд совершался над человечеством. И как всегда, мысль людей, в этом случае моя собственная, искала причин, искала виновных. Какая причина, кто виноват? Англия с ее беспринципностью, Германия с ее бездушным отношением ко всем другим

народам? Франция, поклоняющаяся самой-себе и деньгам? большевизм, истребляющий всех иначе думающих, — кто же из них был виновен? Всё было сложно запутанно, неразрешимо... Нет правых, нет и виноватых. Чтобы убежать от серьезных вопросов, люди сворачивали науку на путь безбожия, понаделали дансингов, кинематографов, где одурманиваются глупыми картинками, в быстроходных автомобилях уносятся от важного, требующего разрешения... Вспомнились две сцены; я шел по улице; у ворот большого дома стоял скрипач и играл прелестную народную песенку. Прохожие замедляли шаг и с улыбкой прислушивались к скрипке. Какой-то проезжавший мимо автомобилист, задержал ход машины и принялся трубить... Получилась дикая какофония. Автомобилист успокоился, когда музыкант перестал играть. Потом — это произошло на очень тихой улице — такой же бродячий музыкант играл очаровательную вещичку, из Баха повидимому. То было что-то тонкое, нежно-прозрачное. И он долго играл, но ни одно окно не раскрылось, никто не бросил ему монетки.

— Monsieur, — сказал он мне, — люди предпочитают джаз, настоящего искусства они не понимают. И уложив закованными пальцами свой инструмент, музыкант ушел.

Я тоже пошел своей дорогой, думая, что где-то на небе было отмечено это людское непонимание и равнодушие; сами собой на ум пришли тогда неумолимые слова: «Мне отмщение, и Аз воздам».

И теперь, через много лет под этим небом, полным звезд и тайн, спала завеса с хранившихся где-то в глубине: — Мне отмщение...

Но понимание было теперь другое. Не грозный, бесогчадный Бог их говорил, их говорила совесть. Та самая, что видела — нет ни правых, ни виноватых, а есть только заблуждающееся человечество; в заблуж-

дении своем оно катилось к чему-то, что должно было быть искуплением и очищением от греха и заблуждения.

В новом свете предстало евангельское событие — исцеление слепого. Его слова, его мольба — «дай прозреть», должны стать мольбой и кличем всех заблудившихся, всех духовно слепых. Все люди должны были-бы воззвать, обращаясь к небу : — «дай прозреть», чтобы увидеть Истину — путь к духовному миру.

Я пришел в каюту уже поздно ночью и с удовольствием убедился, что я один. Через открытый иллюминатор слышался плеск воды; с этим плеском смешались мысли, образы, сознание исчезло, и я погрузился в крепкий сладкий сон.

Утром рано, я слышал — где-то совсем близко — кто-то говорил шопотом, звякала посуда, звенели стаканы... Сперва это показалось непонятным, а потом я вспомнил, что рядом столовая, и прислуга готовит вероятно кофе. Быстро поднявшись, я умылся, привел себя в надлежащий порядок и глянул в окошечко; короткие, невысокие волны с седым гребнем гуляли вокруг «Нормы», но качки не чувствовалось. За волнами виднелся в тумане низкий берег, вероятно шведский.

В столовой, на первом столе уже стоял готовый завтрак. Чего только там не было. Горячий вареный картофель, ветчина, семга, сосиски, разные колбасы, яйца, копченый сиг, какие-то вареные рыбы, всевозможные салаты, огурцы, консервы, сухари, варенье, хлеб разных сортов, стопки тарелок и, венчая всё это, два больших серебряных кофейника и дузатенькие кувшинчики со сливками. Я вооружился тарелкой, ножом, вилкой и обошел стол, выбирая что приглянулось. Студент уже сидел на своем месте и доканчивал какую-то снедь. Я поздоровался с ним и с соседями.

— Ну как спали? — спросил он.

— Хорошо.

— А я хотел было поговорить с моим компаньоном

по каюте, но когда пришел, он уже спал. И теперь еще спит, хотя я его и будил. Почему вы сига себе не взяли? На него много всегда охотников, скоро косточки одни останутся. На шведских пароходах я часто ездил в Финляндию и на такой кормежке в несколько дней поправлялся. На море надо есть как можно больше; сытый и качку переносит легче.

Надо правду сказать — я приналег на завтрак: всё имело такой привлекательный вид, что я несколько раз совершил обход стола с закусками и выпил двѣ больших чашки кофе со сливками.

После завтрака туман рассеялся, все повыходили на палубу. Мы шли так близко от шведских берегов, что были видны отдельные деревья и длинные сжатые полосы.

Жизнь с этого утра вошла в колею. Пассажиры разделились на отдельные группы. Самую аристократическую представляли две дамы, шатенка и блондинка, с их застольным собеседником брюнетом. Самую демократическую — молодые люди в комбинезонах; они оказались голландскими моряками — один повар, другой телефонист, — и ехали к себе домой: с пароходом, где раньше они служили, что-то случилось. Они оказались в Выборге; тут их консул дал им возможность вернуться в Голландию. И почему-то нарядил в комбинезоны. Телефонист говорил немного по-английски, он и рассказал нам свою историю; оба оказались славными парнями.

Больше других привлекала внимание чета туристов. Говоря, они не стеснялись, громко смеялись. Муж в свободное время что-то писал в толстой тетради и передавал её затем жене; жена читала и делала иногда замечания. Отвечая, муж сжимал сперва губы, потом сразу открывал их с таким видом, как будто ему было очень смешно, и обдавал брызгами жену и всех находившихся по близости.

Дамы были, как дамы — вполне современные: но-

готки крашенные, лица — в пудре, чулочки шелковые, их внутренние качества прятались за этим, как солдат в траншее. А их собеседник несомненно принадлежал к дипломатическому миру.

Таким образом, все пассажиры были распределены по категориям. Оставалась только одна загадочная личность — круглолицый.

Как мы ни ломали со студентом головы, но найти ему места в общественной иерархии не могли.

В салоне нашлось много литературы; ящики под диваном были полны иностранными «магазинами», романами на всех возможных языках, пароходными и железно дорожными расписаниями чуть-ли не всех частей света...

Студент покопался, пересмотрел, что было не лень, и заметил:

— Пишут много, а читать нечего.

Самое лучшее местечко было собственно на капитанском мостике, куда пассажиры имели право свободного доступа. Сидя на кресле в защищенном от ветра уголке, там можно было глядеть, думать, дремать, или разговаривать, в ожидании гонга в столовую.

Самому ни о чём не нужно было заботиться, всё кем-то аккуратно делалось в положенный час. Даже становилось совестно за собственное безделье. Беспокойство и осложнения, вызванные войной, в жизни каждого из пассажиров, тут на просторе, в сравнительной безопасности, смягчились, отошли, на дальний план.

Второй день путешествия закончился великолепной алой зарей, утонувшей где-то в далеких водах моря викингов. После ужина я вышел на палубу, подышать свежим воздухом перед сном. Облокотившись на перила, я глядел на звёзды и чувствовал, как мерно бьется внутри машина. Небо казалось глубже и чернее обыкновенного. Берег с невысокими холмами скрылся в темноте. Отыскивая его зрением, я скорее почувствовал, чем увидел высокий темный бугор там, где должен

был находиться горизонт. Над его вершиной мерцало слабое сияние, как будто за ним находился большой освещенный город. К удивлению сияние стало подниматься выше, сделалось ярче, напоминая свет восходящей луны.

Этот свет скоро разделился на отдельные широкие лучи, достигавшие зенита; стало видно море и волны. Я подумал, что это шведские прожектора осматривают небо; лучи то укорачивались, то удлинялись, свет то слабел, то усиливался. А полукруглая темная масса, из-за которой они выходили, оставалась всё такой-же черной.

Наконец я сообразил, что это северное сияние, и крикнул в окошко студенту, сидевшему в салоне.

— Что такое? — спросил он.

Я ему указал на лучи. От горизонта они скачками поднимались к зениту и постояв быстро спадались. От этого быстрого движения чуть слышный шорох расходился по небу, будя странное чувство ничтожности всего земного. Потом с другой стороны протянулось по горизонту что-то темное, подобное низкому горному хребту. Через минуту над хребтом замерцали бесформенные бледные пятна, задрожали, зашевелились, приняли форму и цвет гигантских свертков полотна. Каждый сверток, постояв, заколебался и стал словно разворачиваться вдоль горизонта, как будто кто-то невидимый растилал по небу простыню. Каждая такая световая простыня, коснувшись другой, быстро отскакивала и начинала свертываться, дрожа сверху до низу и превращаясь в бледное пятно, исчезала. На месте исчезнувшего пятна появлялось новое, увеличивалось, разворачивалось, снова свертывалось и исчезало. От игры света, колебания и дрожания по всему небу словно расходился тихий отдаленный гул. Сознание уже не верило в неподвижность неба. А над головой, на капитанском мостике слышались торопливые шаги, тревожные голоса — компас вел себя нехорошо, северное

сияние вызвало сильную магнитную бурю. Эти шевелившиеся огни, словно кем-то управляемые, вызвали смутное чувство мистической реальности перед непостижимой жизнью неба.

Через час всё кончилось. Когда мы встретились на лестнице с туристической четой, на восхищение студента перед северным сиянием, она ответила полным равнодушием. Студент даже рассердился.

— Городские воробьи, мещане, они знают только затоптанные мостовые. А природа им ничего не говорит, никакой выгоды она им принести не может.

Чем дальше мы шли, тем больше встречалось пароходов. Более опасная часть дороги, откуда уже начались минные заграждения предстояла с Тролеборга, самой южной оконечности Швеции. Прибыли мы, медленно двигаясь, в Тролеборг вечером, на третий день. Вся гавань и море были усеяны огнями стоявших на якоре пароходов.

Тут мы должны были взять лоцмана, и пароход долго гудел, но без всякого успеха. Потом младший капитан махал в пространство ярко горевшим факелом, но и на факел никто не явился. Повертевшись туда и сюда и не рискуя идти без провожатого, пароход бросил якорь. Все только обрадовались, будет ночь самая спокойная. Так оно и было. Все выспались, хорошенько позавтракали и поднялись на капитанский мостик. А там уже стоял лоцман, молодой блондин в фуражке с якорем, и говорил с капитаном, указывая вперед рулю.

Загремела якорная цепь, побежала пена из под кормы. Пароход тихо двинулся. Шведские и датские берега начали сближаться. За нами и навстречу нам шли длинные вереницы судов под всевозможными флагами. Но как мы, так и встречные шли по узкому водяному корридору, не уклоняясь ни вправо, ни влево — и там, и там были минные поля. Лоцман стоял у самого края

мостика и всё время бросал рулевому направление — sud, sud-west, nord...

Иногда из воды торчал кол с веником на конце. Словно водяной, подметая свое царство, воткнул швабру в дно и ушел к себе, опочив держать. Около этих швабр пароход шел особенно осторожно. На датском берегу показался большой город; пассажиры стали гадать — Копенгаген, или нет. А мне вспомнился почему-то Андерсен и его чудесные сказки. В море у датского берега стояла круглая площадка с маяком. На одном пароходе по бортам имелись высокие проволоочные сетки, а за сетками чернел какой-то груз, наваленный до половины трубы. Кто-то из моряков объяснил, что это везут в Финляндию кокс. Погода была прекрасная, на солнце ярко блестела зелень на датском берегу. За поворотом, после церкви с высокой тоненькой колокольной показался замок с зеленой крышей.

— Знаете, что это такое? — спросил меня студент, — замок Элосиноры, где жил Гамлет в трагедии Шекспира.

ГЛАВА IX

ИСПЫТАНИЯ В ПУТИ

Около полудня показался на шведском берегу веселый городок, Мальмэ. Пароход здесь остановился, подъехала лодка и забрала лоцмана. Дальше мы уже должны были идти на собственный риск и страх. На носу поставили человека смотреть, не появится-ли где блуждающая мина, и кемного годя «Норма» все-же отправилась вдоль берегов, на некотором расстоянии, дальше, к Гетеборгу. За Мальмэ встречных пароходов стало гораздо меньше, а к вечеру мы были уже одни в открытом море. Когда наступила ночь, снова заблестало северное сияние, но оно было уже гораздо слабее. В одиннадцать ночи пароход миновал Гетеборг; но из пассажиров никто его не видел — все спали. Утром перед нами встали холмистые, покрытые лесом берега

Норвегии, мы были уже в Скагерраке. Около полудня, повернув на юго-запад, «Норма» стала удаляться от берегов, мы выходили в Северное море. Погода стояла ясная, тихая. Бледно-синее море чуть колыхалось, широкие, невысокие волны, как на пружинах, равномерно покачивали «Норму». На небе — ни облачка. Морская поверхность казалась выпуклой и скатывалась куда-то за горизонт, где воображение невольно себе представляло водопады, летящие в бездну.

После обеда я поднялся на капитанский мостик и, взяв бинокль, стал смотреть — нет-ли где встречного или попутного парохода. Но нигде ни паруса, ни дымка, ни мачты. В прозрачной воде плавали медленно опускаясь и поднимаясь небольшие медузы. Вахтенный офицер лениво бродил по мостику, подставляя лицо теплomu солнцу. Неожиданно на самом горизонте я заметил в поле зрения темный бугорок. Сначала я его принял было за далекую волну; но вглядевшись увидел, что бугорок этот имел слишком правильную форму. И уже не спускал с него глаз. За несколько минут он стал выше и больше, яснее обозначилась его геометрическая форма. Впереди-же бугорка моментами показывалась пена, как от быстрого движения. Сначала я подумал, что это может быть кит, или рыбацья лодка с мотором. Только недоумевал, что могла означать желтоватого цвета выпуклость на нём, приблизительно четырехугольной формы? Не подводная-ли лодка? Но я их никогда раньше не видел. А бугорок, между тем, делался всё выше, и всё яснее видна была пена. Направление таинственный предмет держал несомненно на нас. Я указал на него вахтенному. Тот взял другой бинокль, посмотрел и сейчас-же позвал капитана.

Весть о таинственном предмете моментально разнеслась по пароходу. Все высыпали на палубу. А предмет быстро приближался, поднимая белые буруны. Наконец в бинокль стала видна башенка, а поверх

желтели гроздьа, словно группа людей склонившихся вперед; мелькнуло около башенки что-то красное. Сомнения не оставалось — то была подводная лодка, быстро догонявшая нас. Но чья?

А пароход шел, не меняя курса. Наконец уже простым глазом можно было различить кучку людей на башенке и двух человек в странных костюмах, вроде водолазного, на площадке на самом уровне воды. На красном флажке я разглядел свастику.

Вдруг два высоких фонтана поднялись недалеко от кормы — стреляли по «Норме».

Капитан сейчас-же что-то скомандовал по телефону в машинное отделение. Пароход затрясся, замедлил ход, остановился... Подводная лодка, подойдя еще ближе, тоже остановилась. Та ее часть, что была над водой, по форме походила на острую рыбью спину. На обоих концах виднелись небольшие четырехугольные отверстия, напоминавшие рыбы жабры. На самой выпуклой части находилась невысокая башенка песочного цвета и в ней человек восемь, до половины скрытых. На площадке у основания башенки было установлено орудие с длинным телом. Лодка колыхалась на воде, и отверстия на концах то погружались, то выходили наружу, выпуская воду.

Через мегафон капитан подводной лодки спросил, какой это пароход «Норма» и куда идет. Таким же образом наш ответил ему, что «Норма» пароход нейтральный, идет в нейтральную страну, и бумаги ее в порядке. После этого спустили большую шлюпку, в шлюпку сел помощник капитана с объемистым портфелем и несколько матросов, гребцов. Шлюпка пристала к подводной лодке, и усевшись на площадке, наш помощник капитана показал командиру лодки документы. Заняло это минут десять, после чего шлюпка вернулась благополучно обратно, и мы получили разрешение продолжать наш путь. На прощание подводники махали нам руками, мы отвечали им на радостях тем-же. А муж-турист,

бледный и испуганный, махал даже обеими руками.

Помощник капитана рассказал, что «Норму» приняли за английский пароход, который по сведению немцев должен пройти где-то в этих местах и в это-же приблизительно время.

Мы тронулись в путь, подводная лодка тоже, взяв направление вдоль западного берега Норвегии.

Так кончилась наша встреча с подводной лодкой.

Страх, пожалуй, не было, скорее любопытство. А студент прямо сиял; мысль, что «Норму» могли пустить ко дну никому не приходила в голову — такая была уверенность в нашей правоте и безобидности. Конечно, где-то на дне сознания возилось беспокойное: а вдруг?... Но сейчас-же вставал вопрос: а за что?

Часа через два, когда скрылась Норвегия, уже под вечер, с левой стороны мы увидели чей-то пароход. Как далеко мы от него находились — сказать не могу.

В бинокль ясно были видны мачты, труба без дыма, вся верхняя часть. Но ни людей, никаких проявлений жизни... Он сам будто стоял на месте, без движения. Все бинокли впились в него, но по дальности расстояния ни флага, ни других отличительных признаков никто на нём не разглядел. Не было и знаков на бортах, как у всех нейтральных судов. Был-ли он брошен, или только притворялся безжизненным, так и осталось невыясненным. А в сумерки, когда на «Норме» зажглись огни, таинственное судно продолжало оставаться неосвещенным. Может быть это и был тот английский пароход, которого искали немцы.

Этот день был последним ясным днем. На следующее утро мы то погружались в полосу беловатого тумана, то выходили из него на освещенное солнцем пространство, чтобы снова попасть в туман. Шли тихо; на носу, подстерегая мины, стояло уже два человека. К вечеру туман поднялся и заволоч небо низкими тучами. За этот день мы никого не встретили; настроение у экипажа было тревожное. Не помню, не в этот-ли

именно день мы узнали по радио, что большевики вошли в восточную часть Польши. Ночью пароход, пройдя половину пути до Англии, круто свернул на юг, к Бельгии. Я и студент узнали об этом перед обедом, пробравшись в капитанскую каюту. Тут на столе лежала карта, где отмечался пройденный путь. Карта показывала, что «Норма» шла через мелкие места, где глубина была от восьми до полутора метров только. По морю ходили волны с пенистыми гребнями. А над волнами носились белые чайки и порой так низко, что задевали кончиком крыла воду. Некоторые садились, вероятно отдохнуть, и не обращали на «Норму» внимания. Любопытно было следить за их легким, грациозным полетом; в их плавных движениях не замечалось ни малейшего усилия. А небо — серое, угрюмое, неприветливое.

Вдруг послышалось отдаленное гудение, быстро приблизилось, и из туч вынырнул, как хищная птица, бросающаяся на перепелку, темно-серый аэроплан. Все головы сразу поднялись к нему. Ястребом он облетел пароход вокруг, потом пересек его вдоль и поперек. Капитан, стоявший на мостике, засунув руки в карманы, только глянул на него. Мы пассажиры замерли — пустит бомбу, и нет ни парохода, ни нас. Но вероятно разглядевши финский флаг, аэроплан поднялся и скрылся на западе в тучах.

Минут через десять снова послышалось гудение. Второй такой-же хищник с раскинутыми крыльями летел по направлению к «Норме»; когда он очутился над серединой парохода, мы снова пережили очень тягостный момент. Но не обратив на нас внимания, авион полетел дальше на восток. На нём, как и на первом, не было никаких отличительных знаков.

Кто это были — англичане или немцы, мы так и не узнали; но после того, как второй авион скрылся в тумане, почему-то появилась уверенность, что это было последнее испытание. Капитан всё-таки не сходил с

мостика и вполголоса говорил о чём-то с вахтенным, вглядываясь в даль. Раздался гонг к завтраку, пассажиры сошли вниз. После завтрака мы со студентом поднялись опять на мостик; на карте в служебной каюте старший помощник только что начертил путь, пройденный за последние двадцать четыре часа; прямая линия показала, что мы уже приближались к голландским берегам.

Донесся странный режущий звук — не то кто-то ажал, не то стонал; но кто мог стонать в открытом море? Капитан, не сходявший с мостика, указал вахтенному на какой-то предмет вроде большого поплавка, колыхавшийся на волнах; когда подошли ближе, стало видно, что это буй, что это он поднимаясь и опускаясь издает такие надрывные, ревущие звуки. Земля, значит, была недалеко, и через час или два на горизонте тонкой нитью вытянулись низкие берега Голландии. В туманной дали перед берегами обрисовался четкий силуэт небольшого военного корабля.

— Голландский, — объяснил нам вахтенный.

За берегами, на твердой земле показались вершины высоких ветряных мельниц. Море стало по цвету светлопесочным. Низкие берега, похожие на вал, пологим скатом, гласисом обращенные к морю, были окружены вбитыми сваями и фашинами, а с внутренней стороны из-за вала виднелись только крыши домов.

Остановившись недалеко от берега, «Норма» пустила в ход сирену. С парохода, стоявшего на якоре перед широким устьем Шельды, спустили моторную лодку, и «Норма» приняла плотного маленького седого лоцмана, кутившего сигару. Мы отправились дальше по реке Шельде, которая в этом месте образует длинный и широкий залив; ея песчаные берега провожали нас с обеих сторон. За берегами виднелись маленькие домики с красными крышами, окруженные высокими не облетевшими еще деревьями. Пали сумерки, на земле и по берегам зажигались огни. Лоцман, попыхивая си-

гарой, давал указания рулевому. Мы подъезжали к Антверпену. Показались железно-дорожные пути, пристани, сараи. Огней становилось всё больше. Потом уткнулись в каменную стену, такая-же стенка выросла позади — шлюз. Когда шлюз наполнился, водой, передняя стена куда-то исчезла, и пароход вышел на широкое водное пространство, напоминавшее большой пруд, со всех сторон освещенное огнями. Потом медленно прошли мимо темных пароходов, стоявших на якоре, вдоль длинных складов... Где-то к нам прицепился буксир и ввел нас в узкий рукав воды. Подведя «Норму» к набережной, буксир отцепился; с парохода бросили канат... Сходни... Приехали...

Кто-то из служащих обошел пассажиров и объявил, что на пароход явится агент компании, и у него можно будет навести все справки.

В столовой уже был накрыт стол. Все собрались в последний раз. Студент, бывавший в Антверпене, сказал, что набережная, где мы стоим, находится далеко от центра города, такси здесь встретить невозможно. Дамы тоже видимо волновались. Спокойными оставались только голландцы в комбинезонах и чета туристов.

К концу ужина в столовой появился агент компании. Он опросил каждого, кто куда ехал, и что кому нужно. В Париж ехали одна из дам — блондинка; я, тайный круглолицый и человек, обедавший с дамами. Я разговаривал с попутчицей; она оказалась финкой и ехала к своему мужу; круглолицый был не более и не менее, как служащий финской легации в Париже; человек-же, обедавший с дамами, как я и предполагал, — attaché посольства какого-то северного государства. Поезда прямого сообщения в Париж были отменены. Чтобы не ждать долго в Брюсселе и на границе, надо было выехать утром. Но где переночевать? Решили просить у капитана позволения провести ночь на пароходе,

что он и разрешил и даже приказал на кухне приготовить нам утреннее кофе.

Перед сном мы со студентом сошли на берег и разговорились с двумя таможенными сторожами, ходившими около какого-то склада. Они нам сказали, что в Бельгии введено уже *rationnement* — карточки. Оба были унылы, как осенний день.

Вернувшись, мы застали в столовой даму-брюнетку в совершенно расстроенных чувствах, и было отчего: шведка по национальности, она ехала к мужу; работавшему в Конго. Ея пароход должен был отойти в Африку через два дня; но в пароходной компании ей сказали, что пароход, на который она уже имела билет, в назначенный срок не пойдет; может быть лишь второго декабря, и то не наверное. Кроме билета и тысячи франков, она ничего не имела, как не имела ни родных, ни знакомых в этом городе бриллиантов. Посочувствовали мы ей, но помочь не могли и пошли спать.

А утром первым уехал студент, потом я с дамой и круглолицым, и вся наша компания распалась.

На центральном вокзале пришлось долго ждать поезда в Брюссель. Я воспользовался этим и прошелся по городу. Город как город, главного с налету не увидишь, а магазины, банкирские конторы, кондитерские, тротуары, мостовые, все как в любом благоустроенном городе. Стало скучно, я вернулся обратно, нашел скамейку на вокзале, сел и стал читать купленную газету. Невольно думалось всё о Париже, о беспокойстве того, кто меня ждал. А выходившие и входившие через все двери офицеры и солдаты в только что надетой форме невольно напоминали о том, что сейчас война, и война какая-то странная, непохожая на другие. Подошла спутница с круглолицым.

— Уже пора, давайте забирать вещи...

Поезд был электрический, длинные вагоны вытянулись чуть-ли не на полверсты, пассажиров было столько, что мы с трудом нашли места в дальнем вагоне.

Поезд помчался. Я покачивался на удобном сидении и смотрел в окно. Фабричные трубы, заводы, маленькие рабочие домики с огородами и садами, куча старого железного хлама, и — никакого простора; всё занято человеком, на всём его знак.

Через тридцать или сорок минут мы были уже в Брюсселе, на Северном вокзале. Поезда шли во Францию с Южного вокзала. Поместительное такси забрало нас троих со всем багажом, и мы отправились в путь.

Может быть мы и сворачивали где-нибудь, но общее впечатление от столицы Бельгии — впечатление длинной прямой улицы с бесконечными рядами магазинных зеркальных стекол. Находившиеся на солнечной стороне стекла так блестели, что за ними ничего нельзя было видеть, а с затененной стороны стекол как будто совсем не было, и все предметы стояли словно на открытом воздухе.

Южный вокзал оказался сравнительно небольшим. Поезд уже стоял у платформы; носильщик посоветовал нам сейчас-же занять места.

— С этим поездом едет очень много местных жителей до границы.

Но ждать до отхода два часа в вагоне не хотелось, я вышел на платформу.

У следующего вагона стояла кучка людей, громко и оживленно между собою разговаривая. Отдельные фразы долетели до меня — для въезда во Францию нужно особое разрешение... визы, выданные раньше, не действительны... на границе многих французские власти задерживают... Значит могли задержать и меня. Известие было очень неприятное.

— Простите, — обратился я к стоявшему поближе пожилому мужчине, — я невольно слышал ваш разговор, да вы и не делали из него тайны. Выходит, что прежние визы недействительны.

— Совершенно верно, monsieur, визы, выданные до войны... Я сам французский гражданин, старый

комбатан, и, всё-таки, не могу поехать во Францию.

— Но я живу во Франции и еду к себе; моя жена в Париже, она там работает.

— Ничего не могу сказать. Теперь нужно специальное разрешение.

— Кто-же его выдает?

— Консульство, и то не всякому.

— Но если человек имеет постоянное пребывание в Париже, может-быть его и пропустят, — вмешался другой.

— Попробуйте, кто знает, пропустят — так пропустят, а нет — придется вернуться.

Я задумался. Паспорт у меня был в полном порядке, *carte d'identité* также. Французские чиновники не такие-ж уже бюрократы. Может быть и удастся их убедить, что я человек благонадежный.

И решил рискнуть.

— О чём вы разговаривали? — спросила спутница, когда я вернулся в вагон.

Я рассказал. Она забеспокоилась, вынула паспорт, виза ей была выдана в Гельсингфорсе, как жене мобилизованного во Франции. Выйдя замуж, за русского, она к счастью сохранила финское подданство, что ей и облегчило получение визы.

— Поедем, а там что будет, то будет.

Часа через два-три поезд остановился на французской границе. На вокзале стояло много жандармов. Нас всех попросили выйти из вагона, для осмотра багажа и проверки паспортов. Взяли сообщца носильщика; он отнёс наши чемоданы в большую белую залу и положил их на прилавок, за которым суетились таможенные чиновники. Я открыл только маленький чемодан, показал зубные щетки, мыло, полотенце...

— А тут что? — ткнув в большой чемодан спросил таможенный.

— Белье, костюмы...

— А деньги, золото, серебро?

— Деньги бумажные, французские; серебра и золота нет. Мельком глянув на кредитки, он отпустил меня.

Паспорта контролировали у входных дверей, с наружной стороны. За столиками сидело три человека, рассматривали поданные документы; около них стояло несколько жандармов. Перед дверьми столпилось человек восемьдесят. Я со спутницей были в самом хвосте. Мы медленно подвигались, и не знаю, как она, а я, всё таки, волновался — думал, что делать, если не пропустят? Круглолицого пропустили без разговоров: у него был дипломатический паспорт. Подошла к столику спутница. Поглядели на паспорт, на визу, стукнули штемпелем и отпустили. Пришла моя очередь. Я показал мой нансеновский паспорт. Человек за столиком повертел его, раскрыл, прочел всё внимательно и объявил:

— Ваша виза недействительна.

— Как недействительна? Почему? — начал я, решив защищать свою визу изо всех сил, — виза была мне выдана полицейской префектурой. Я живу в Париже семнадцать лет, моя жена и сейчас там работает... — я назвал учреждение с мировым именем, — вы можете телеграфировать ей или директору, который меня лично знает. Во французском консульстве в Эстони мне сказали, *que je suis tout a fait en règle*; вот моя *carte d'identité*, там написано, что мое место жительства — Париж...

Чинovníк взял мою карточку, посмотрел...

— Но она просрочена...

Я даже подпрыгнул.

— Как просрочена? Вы посмотрите внимательно: вот написано — срок её продолжен до 1 января 1940 года.

Это подействовало на чиновника; не найдя, что ответить, он махнул рукой, стукнул штемпелем и отдал паспорт.

— Allez-y...

Я вышел на перрон. Большая тяжесть скатилась с сердца. Как я был признателен этому человеку — не могу сказать. Нет, всё-таки, во Франции бесдушного формализма.

Дама уже сидела в вагоне, когда я пришел.

— Ну что, как вы?

— Пропустили.

Поезд тронулся. В нашем отделении, кроме нас двоих, еще была старушка француженка, читавшая какой-то роман. Мы все молчали. Мне не верилось, что через несколько часов, я буду уже в Париже, увижу близких. Перед радостью свидания война отходила вдаль. Знают-ли только в Париже, что я еду, что я уже во Франции? Спутница тоже волновалась. А поезд шел, изредка останавливаясь; серые сумерки перешли в светлую лунную ночь. В отделении зажглась зеленая лампочка, и такая тусклая, что не было видно лиц. На станциях горели такие-же лампочки.

На остановках кто-то сходил, кто-то входил, люди в коридорах натыкались друг на друга, извинялись, а иногда и садились друг другу на колени. Замелькали неясные строения фабрик и заводов, сквозь замазанные синим стекла проникал порой слабый свет. Ни полей, ни лесов больше не было. Уж не предместья-ли Парижа? Но вместо света, стоящего в мирное время над городом, над всем нависла темнота. Пошли запасные пути, пустые вагоны, замелькали бесчисленные синие огоньки, показалась стеклянная крыша Северного вокзала. Поезд замедлил ход, остановился — Париж...

Носильщик, взявший вещи, сказал, что теперь трудно найти такси, и лучше всего выйти на подъезд и ждать, пока не подъедет машина. Так и сделали. Первое такси взяли спутница и круглолицый, а я остался. Ждал недолго, проезжавший мимо автомобиль с шоффером в берете, забрал меня и мои вещи. Улицы пустынные, окна кафе и ресторанов завешены темным.

Фонари с черными капюшбнами бросали слабый свет на тротуары. Луна была молодая и скоро зашла. Ехали мы в полутемноте, осторожно, не спеша. По некоторым почти неуловимым признакам я заподозрил в моем шоффере русского и заговорил с ним. Я не ошибся. По его словам жизнь в Париже шла, как и до войны. Всё есть, всё можно достать, карточек никаких. Были тревоги, но бомб не было. Молодые русские мобилизованы, старшие зарегистрированы и ждут, пока их не призовут.

Наконец приехали. Консьерж уже спал. Шоффер помог мне снести вещи в лифт; я с ним распрощался и нажал кнопку. Сильное волнение, до сих пор сдерживаемое внешним миром и внешними обстоятельствами, охватило меня. Много есть на грешной земле временного и конечного. Но есть и вечное. Оно в глубокой привязанности одного человека к другому; в стремлении быть всегда с ним, поддерживать и утешить его в горе; в счастье радоваться его радостью, разделить общую судьбу.

С этим вечным в душе я поднимался, это вечное ждало меня в душе другого человека, жившего вот за этой дверью, перед которой я на миг остановился. Знает-ли, чувствует-ли он, что я тут? Что он пережил за эти дни неизвестности?..

И обнимая его после мучительной разлуки, после долгих дней томительного ожидания, я сказал про себя: : «Где ты, Кайя, там и я, Кай».

13. I. 1940.

В алтаре, в сиянии смирения стоял священнослужитель — совершалось отпевание.

МЕЖДУ НЕБОМ И ВОДОЙ

— Кажется, получена.

Молодой человек с прямыми бровями, тоненьким пробором, весь выглаженный, взял с полки толстую книгу, перелистал, провел по странице холемым пальцем, остановился.

— Виза пришла еще позавчера. Ваш паспорт?

Я подал паспорт. Выбрав подходящее местечко, он шлепнул штемпелем, заполнил пустые строчки, наклеил марки, получил деньги и ушел, сказав:

— Одну минуту.

И через пять минут паспорт с французской визой, за всеми номерами и подписями лежал уже у меня в кармане.

Я вышел из консульства и, не теряя времени, пустился на поиски первого отходящего во Францию парохода. Линия Александрия-Марсель обслуживается компанией Messageries Maritimes. Но там заявили — первый их пароход отходит лишь через десять дней. Ждать так долго не хотелось, и я направился в порт — не най-

дятся-ли какой-нибудь подходящей оказии. В справочном бюро долго рылись в проспектах, ничего определенного не нашли, но на всякий случай посоветовали справиться в италийском обществе го перевозке грузов.

— У них на днях пароход идет в Марсель, узнайте, может вас и возмут, — и на листике блок-нота дали адрес.

Чтобы попасть в контору этого общества, пришлось из порта вернуться обратно в город. Улицу я нашел скоро, контору тоже, а на дверях — объявление: входите не стучась. Я взялся за ручку — заперто; позвонил раз, два — никакого ответа. После третьего звонка дверь, наконец, отворилась, и на меня глянула такая чернота, что я попятился назад и с испугу забыл, зачем пришел. Старик-бербер, с серебряными волосами, с красным ожерельем на могучей шее, в белом халате и с пыльной тряпкой в руке, приветливо смотрел на меня большими, как сливы, глазами и показывал белые, без всякого изъяна зубы. Я тоже показал ему зубы. Поздоровались по арабски — руку к сердцу, ко лбу и поцеловали кончики гальцев.

Разговор наш был таков:

Я (по-арабски): Я хотел-бы видеть заведующего.

Бербер (кланяясь): Бонжур, мосье...

Я (по французски): Я хочу видеть шефа.

Бербер: Гуд морнинг, сэр...

Я: На каком языке вы говорите?

Бербер (улыбаясь еще шире, с восторгом): Милле-грация, сеньорэ.

Я (уже по-русски): Шеф, мне нужен шеф, диретторе, начальник, черная твоя голова.

Бербер : (радостно) Шеф, диретторе? Диретторе иш *), — и, мотнув головой на часы, поднес к моему носу три растопыренных пальца. Я сообразил, дирет-

*) По арабски — придет.

торе придет в три часа, а сейчас только час. И еще раз показав друг другу зубы, мы расстались. Куда пойти? Решил посидеть на набережной. Стояла середина марта; с моря дул легкий весенний ветерок. Из садов французского консульства доносился запах роз. Солнце нежило и грело тело. Волны тихо бились о темные плиты набережной. Присев на скамейку, я загляделся на дальний островок; иногда от лениво надходившего на его высокий берег вала, взлетала тонкая прозрачная струя, не спеша всползала на каменистый бок и, завившись спиралью, жемчужной пылью падала в море. Стройная яхта, как снегом покрытая парусами, остановилась около маячка, окруженного бурунами. Бухнул якорь, по палубе забегали люди, задергали веревки, и от снежной красы в одну минуту ничего не осталось. Я глядел и не мог наглядеться.

Море — что-то живое, подвижное, многоцветное. На него хотелось смотреть не отрываясь и думать о своем. Никого не было по близости; моя фантазия втихомолку расправила крылья и вдруг понесла меня по волнам в бесконечные просторы.

Каюсь — я неисправимый мечтатель.

— Что вы тут делаете? — вдруг строго спросил чей-то голос.

Неожиданное человеческое вмешательство словно надломило нежные крылья фантазии, она поспешила скрыться, а я обернулся и увидел приятеля, с которым делил все радости, невзгоды, а также и комнату у квартирной хозяйки.

— Да, вот, смотрю...

— Кажется не время, — еще строже заметил он.

— Именно, самое время, — и я объяснил, в чем дело.

— Ну, что-ж пойдем тогда вместе, я сейчас свободен. А то ведь вы создание беспомощное, забудете или напутаете что-нибудь и вместо Франции отправитесь в Зензибар.

Это правда — забыть самое важное и запутаться в простом — моя особенность.

И в три часа мы были в конторе. Встретил нас тот же бербер.

— Святители, настояще как людоед, — уставился на него Ищенко.

А бербер улыбался, словно мы сделали ему большой подарок.

— Диретторе?

Он показал глазами на сидевшего за столом в первой комнате худенького человечка, без плеч, в сером костюме, весьма похожего на оструганную со всех сторон палочку.

Сделав свое дело, бербер уселся в кресло у двери и, сложив руки на животе, заиграл одним пальцем вокруг другого.

Войдя, мы сделали поклон человеку за столом. Подняв голову, он привстал, ответил на поклон и рукой указал на два плетеных стула, стоявшие у стола.

— Одну минуту, господа, — сказал он по-итальянски и опять углубился в разглядывание длинной колонки цифр.

Мы с Ищенко уселись. Но как только мы сели, в разнобой, остро и тягуче заскрипели под нами наши разошедшиеся сидения, каждое на свой образец: мое ворчало, как закоренелый ревматик в сырую погоду, а стул под Ищенко брюзжал, как старый холостяк. Я всей тяжестью навалился на спинку, надеясь прекратить эту скрипучую истерику, но в ответ тростинчатый переплет пронзительно мявкнул и закорчился, как человек, когда ему наступят на ногу. Ищенко попробовал привстать, но стул обрадовавшись пустил такую веселую трель, что тот поспешил снова сесть.

— Чем могу служить? — обратился, наконец, итальянец.

Я объяснил.

— Вы, значит, хотели-бы отправиться на нашем

грузовом пароходе в Марсель? Это можно. У вас бумаги в порядке?

— Всё готово.

— Подождите минутку, я поговорю по телефону, — и он удалился в стеклянную будку.

Мы с Ищенко остались одни.

— Вот и не напутал и ничего не забыл, — сказал я.

— Прямо невероятно.

Итальянец вернулся.

— Капитан берет вас. Заплатить за проезд можете сейчас-же.

— Как быстро делается, — шепнул Ищенко.

— Проезд стоит восемь фунтов, с продовольствием. У вас будет отдельная каюта. Пароход называется «Диана». Он сейчас грузится и отойдет завтра после полудня. Вы его легко найдете в порту, спросите только итальянскую набережную.

Говоря, он взял маленький стальной ящичек, стоявший на столе, вынул оттуда пачку кредиток и поглядел на меня: молчаливое приглашение платить.

Я вынул свой рыжий тощий бумажник, отсчитал восемь фунтов и, погладив их на прощание, передал итальянцу; а в обмен получил бумажку, что «Общество» разрешает капитану «Дианы» взять в качестве пассажира такого-то. Деньги за проезд сполна уплачены.

А мои кровные восемь египетских фунтов присоединились к пачке кредиток и исчезли в ящичке; громко щелкнул замочек.

И тут только мне пришло в голову — я же ведь ничего не знаю о самом пароходе: какая это «Диана», старая, новая, большая, маленькая? Может быть она никуда негодная, дырявая калоша?

— Не бойтесь, пароход прочный, стойкий, — уверил итальянец, — он, правда, восемнадцать месяцев пролежал на дне морском, когда у него бок отвалился, но затем его подняли, заштопали, и теперь он ходит,

как полагается. Нет, бояться не нужно. Впрочем, вы можете здесь-же застраховаться.

— Заодно и духовное завещание напишите, — шепнул Ищенко, — и в мою кользу, тогда-то уж наверное благополучно доедете — мне ни в чём не везет.

Называется — друг!

У меня мелькнуло в голове — не попросить-ли ленег обратно? Но го лицу итальянца было видно, что ни за какие пряники он их не вернет.

И махнув рукой на собственную жизнь, на «Диану», на завещание, я годнялся, Ищенко за мной; попрощались мы и вышли на улицу. А на улице, буин-ветер дунул нам в лицо, взъерошил волосы и сломя голову умчался прочь; нас охватила такая весенняя радость, так сикело небо, так играло вдали море, что от страхов и опасений ничего не осталось. Ищенко отправился домой, а я в магазин, купить кое-что на Дорогу.

На веранде, у дверей большого кафэ, что помещалось рядом с магазином, сидел тонкий, как хворостинка, бедуин. Белый, небрежно откинутый за спину бурнус падал на землю тяжелыми складками. Широкий плат янтарного цвета, повязанный вокруг головы золоченым с узлами шнуром, скрывал уши, шею и плечи, еще больше оттеняя темную бронзу лица. Бедуин о чём-то глубоко задумался и задумавшись гибко откинулся назад. Тонкое, словно из металла выкованное лицо было неукротимо гордо. Одной рукой он облокотился на стол, а в другой держал алую розу, и, рассеянно вертя её за черепок, подставлял солнцу полураскрытые лепестки. С одной босой ноги, заложенной на другую, свесился бабуш, и через золотистую кожу просвечивали синие, как старинная платина, вены.

Я медленно прошел мимо веранды, невольно любуясь этим лицом, этой фигурой в простом, но величавом одеянии жителя пустыни. Как он выигрывал ге-

ред сидевшими по соседству европейцами, такими неуклюжими и некрасивыми в своих пиджаках и воротничках.

* * *

Уложить чемодан для дальней дороги — искусство, но вот уже несколько лет сряду, как добровольно и недобровольно я передвигаюсь по всяким широтам и долготам земного шара, и искусство это постиг основательно.

Чемодан мой — матерчатый, коричневого цвета, из дешевеньких. Две простыни, костюм, две-три смены белья, еще какие-то мелочи — вот и всё. Вещей столько, что ремней не пришлось даже распускать.

Правда, при прибытии в Египет их было еще меньше; весь мой багаж помещался тогда в кармане брюк — грязный носовой платок и напильничек для ногтей.

Утром после завтрака, попрощавшись с хозяйкой и Ищенко, я кликнул в окно проезжавшего мимо извозчика; горбатый от старости дворник помог снести вещи и уложить их в пролетку.

С пролетки я шлю последний привет всем остающимся. Извозчик трогает, мы едем. А на душе — печаль. Но эта печаль светлая, как печаль о прекрасном видении — сказке, на миг очаровавшем и снова скрывшемся. А эта сказка — Египет. Кто его знает — тот любит, а кто покидает — тоскует.

В такие минуты лучше всего быть одному — душа в одиночестве затихает, и в душевном затишье всё видится яснее, полнее, глубже. Я был уверен, что до прибытия в порт мое одиночество не будет нарушено. Но как только мы свернули за угол, пролетка вдруг сильно накренилась, и, чтобы не скатиться на мостовую, я схватился за поручни козел. Около меня, на подножке стоял араб, молодой, в феске, обвитый по талии широ-

ким красным поясом, в необятных штанах зеленоватого цвета и вышитой безрукавке поверх белой рубахи.

— Ховага едет и не позвал Гассана? — с ласковым укором обратился он ко мне, — а Гассан всё знает в порту — покажет, где паспорт прописать, где бакшиш дать бедному чиновнику... И багаж снесет в каюту...

— Уходи, — вспыхнул ховага, — ничего мне не надо, сам всё знаю.

— Ховага, не сердись, Гассан честный человек.

— Извощик, стой... Слезай!..

Гассан послушно слез с подножки и уселся рядом с кучером.

— В порт, — приказал он. —

Отделаться не удалось; так втроем в порт и приехали — извощик, Гассан и я.

Пока я платил, Гассан схватил чемодан и убежал вперед. Гассан впереди, шагов на десять, я — позади. Вошел в таможню. Гассан командует:

— Здесь, ховага, надо паспорт показать, здесь, ховага, надо десять пиастров платить.

И я показываю паспорт, плачу десять пиастров. Я — шаг вперед, и Гассан — шаг вперед, я — два и Гассан — два. Наконец, со всеми формальностями покончено, надо найти «Диану». Выходим из канцелярии на большую, скверно вымощенную площадь. Набережная такая длинная, столько пристаней, пароходов, мачт, дыма, столько разного человечества — белого, черного, лимонного, бронзового, шоколадного, так гудят сирены, что и не разобраться. Присмирел и Гассан.

— Где-же пароход, ховага? Как называется?

— «Диана», грузовой.

— Хорошо, очень хорошо.

С чемоданом в руке он храбро ныряет в водоворот из экипажей, ломовиков, грузовиков, такси, попадает в стадо медлительных буйволиц, дергает их за хвосты, хватая за рога, направляясь к пристани, где стоит

огромный красавец-пароход. Но я сразу замечаю, что пароход — пассажирский. Подойдя поближе, мы в одно время читаем золотые буквы на корме: *Vesperia*.

— Какой пароход мне нужен?

— «Диана», ховага.

— А это?

Гассан молча чешет бритую башку.

— Гассан всё знает?

Феска с правого уха передвигается на левое. Вот и весь ответ.

Но как, всё-таки, найти «Диану»?

Оглядываясь вокруг, я случайно замечаю недалеко от «*Vesperi*» и небольшой пароходик и на его длинном и остром носу читаю выцветшее уже название — «Диана». Она длинная и узенька. Ея борты чуть выдаются над набережной. Хотя она и маленькая, зато стройная и изящная. «Диана» грузится; грузчики-феллахи с тюками на спине по одним сходням поднимаются, а по другим спускаются, сбросив по дороге ношу в большую дыру на палубе. Над дырой без дела болтается цепь лебедки. С мостика за нагрузкой следит низенький, тусклого вида человек в жилете, в брюках в полосочку и туфлях без задников. Перегнувшись через перила, человек иногда кричит то на грузчиков, то в дыру. Грузчики не обращают на него внимания, а в дыре — не знаю. Судя по властному крику, это капитан. Густые усы закрывают ему рот, брови выступают, как балконы, а лица — нет, так оно заросло густой щетиной, которой можно было-бы и платье вычистить, и пол подмести. На всякий случай я ему кланяюсь. Он отвечает кивком.

При нашем появлении на палубе, из ближайшей каюты выскочил маленький красивый итальянчик в белом переднике, с полуочищенной картошкой в руке.

— Это вы наш пассажир?

— Да, это я.

— Капитан говорил о вас, помещение для вас го-

тово. Я — Альфредо, прислуживаю в кают-компаний, и вам буду прислуживать, если понадобится.

— Спасибо.

— Теперь пойдемте, я покажу вам каюту.

Альфредо выхватил чемодан у Гассана, и мы по лесенке спустились вниз, прошли по темному корридору и остановились у третьей или четвертой двери. Каютка оказалась крошечной, как коробка от дамской шляпы, но чистенькая и приветливая. Постель была уже застлана.

— Хорошо?

— Хорошо.

— Вот и располагайтесь, как вам удобнее, — и Альфредо ушел дочищать свою картошку.

Распаковав чемодан, я достал необходимые туалетные принадлежности и, разложив их так, чтобы всё было под рукой, вышел наверх. У сходней, на свернутом канате погруженный в мрачную задумчивость сидел никому ненужный и всеми забытый Гассан. Увидя меня, он так и расцвел.

— Бакиши, ховага.

— За что, Гассан?

— Как за что? Я ховагу проводил, чемодан нес, говорил, где надо платить.

— А разве я просил?

— Ховага, — умильно сказал Гассан — ты человек хороший, не обидишь бедного, у меня жена, дети...

— Сочиняешь, ни жены, ни детей у тебя нет.

Гассан засмеялся.

— Это, ховага, так уж говорится. Ну, хоть маленький бакиши. Ховага теперь уезжает, встретит молодую жену, ему будут рады, дай на счастье что-нибудь. У меня легкая рука. Тебя все любить будут.

Как тут было устоять? Получив даяние, Гассан спрятал его куда-то за пояс и протянул руку.

— Будь здоров, дай Бог тебе счастья.

Это было сказано так, что на сердце стало веселее.

И не интересуясь уже больше мной, Гассан стрелой бросился к такси, где сидели две англичанки, по самые плечи обложенные разнокалиберными чемоданами.

Я остался один. Нагрузка продолжалась. Около открытого люка, куда бросали тюки, стояло пять-шесть человек, одетых приблизительно так-же, как и капитан. Только одежда их была еще больше поношена, в огромных заплатах, а обветренные лица выражали полное ко всему равнодушие. Ближайший ко мне зевал, его сосед покуривал трубку, кое-кто лениво почесывался — словом у каждого было свое дело. Бунты канатов, цепи, какие-то ящики заграждали палубу. От носа до кормы тянулся с обеих сторон высокий вал из плетеных корзинок с помидорами. Вскоре из трубы пошел легкий дымок. Из машинного трюма вылез человек с лицом, на котором были только две светлых точки — глаза. Он потянулся, — видно очень засиделся — плюнул за борт и, крикнув что-то капитану на мостике, снова полез в свое тартарары. Капитан пробасил несколько слов людям стоявшим внизу, а те, наклонившись над дырой, где исчезали товары, передали приказание в трюм.

Грузчики исчезли; загрохотала якорная цепь, хлопнули сходни, под кормой забурило, и незаметно пароход отделился от набережной. Капитан ушел к себе, а экипаж принялся наводить порядок на палубе: закрыли трюм, покрыли брезентом, выровняли плетеные корзины с помидорами и прикрепили их веревками к перилам. Двое или трое из матросов, вооружившись водяными шлангами, обильно полили палубу водой, а другие метлами и щетками выскребли и вымыли промазаннные смолой половицы.

И через полчаса «Диана» стала насколько могла чистой и кокетливой.

Город незаметно отходил. Белые стены домов слились в одну сверкавшую под солнцем глыбу, отороченную лентой набережных. Повитые жемчужной мглой,

уходили в бесконечную даль, низкие берега пустыни, усаженные стройными, редко стоявшими пальмами, с печально наклонившимися верхушками.

Погода была прекрасная. Блистало солнце на синем небе, грязная в порту вода за волнорезом походила на растопленный малахит. Стая чаек с рыдающими криками провожала «Диану»; отставая одна за другой, они летели обратно к твердой земле. Большая рыбацья лодка, распустив темно-вишневый парус, перекачнулась на пароходной волне и снова сладостно замерла. Льдистой искрой сверкнул маяк и скрылся. Мы были в открытом море.

Появился капитан и, как *primus inter pares*, заходил между босоногими матросами. Посмотрел, как закрыт трюм, поправил сложенный канат, попробовал — прочно-ли привязаны помидоры к бортам. Но больше всего он уделил внимания хромоногому человеку в белом фартуке — повару. Говорил он с ним долго. Чаще всего сходило с капитанских уст одно слово — *mangiare*.

Во время их разговора небольшой люк в полу около кухни неожиданно поднялся, и показались две человеческие головы с растрепанными волосами. Головы быстро оглядели палубу и замерли — вылезать, или нет? Повар, стоявший к люку лицом, махнул им рукой; головы живо спрятались, люк опустился. Капитан ничего не заметил, ушел, но минут через десять снова явился. Продолжая свою беседу насчет *mangiare*, он остановился как раз на таинственном люке и вдруг замолчав посмотрел себе под ноги — трап под ним ходил ходенем. Он отошел в сторону и замер, пошевеливая усами, как рак в норе. В это время, из темной дыры вылезали две длинные костистые, как вяленая вобла, фигуры... Вылезши, они остановились перед ним в позе кающихся грешников. У капитана в первый момент захватило дыхание; несколько раз он раскрывал рот, но, лязгнув зубами, снова закрывал его. Наконец дар

слова ему вернулся. Но что-это было!.. Ураган!.. Морские-же зайцы, склонив виноватые головы, стойко выдерживали капитанскую бучу, не обнаруживая всё-же сколько-нибудь приметных следов раскаяния.

Позабыв о своих швабрах, тряпках и концах, матросы из укромных местечек наблюдали за происходившим и улыбались, как улыбаются чему-то хорошо знакомому, что начинается бурей и кончается миром.

В конце-концов гроза стала стихать, в голосе капитана появились более мирные нотки, и заявив, что зайцы продовольствия на пароходе не получают, он успокоился совсем.

Отведя душу, капитан подошел ко мне и спросил — не хочу-ли я есть?

— Что-то не хочется...

— Не хотите? — и он поглядел на меня, как доктор по душевным болезням глядит на своего пациента.

— Вы, значит, больны?

— Нет, я совсем здоров.

— А раз здоровы, надо есть. А то захвораете. Не едят только больные и ненормальные. Альфредо!

Подскочил Альфредо. Капитан что-то сказал ему на непонятном итальянском наречии.

— Может быть, вы на палубе позавтракаете, — предложил Альфредо, — в каюте, правда, жарко.

— Хорошо.

Капитан просветлел и исчез, а Альфредо нагнулся и шепнул:

— Ешьте побольше, наш патрон боится тех, кто не ест.

В одну минуту ящик, где перешептывались курицы, превратился в стол, а пустой боченок из-под вина — в сидение. Завтрак был обильный и вкусный, сам собой явился аппетит. После еды я растянулся на большом полотняном кресле и закрыв глаза, прислушивался к ритмичным постукиваниям машины; думал о том, что пришлось покинуть, что ждет впереди, о морской

бездне, ея обитателях и кончил тем, что задремал. Очнулся я, когда солнце стояло уже низко. Яркое раскаленный шар незаметно и все-же быстро приближался к отчетливой линии горизонта. За миг до встречи, нижняя часть шара удлинилась и пламенной каплей упала за грань видимого мира. Небо, море, пароход окрасились в нежно розовый цвет, а огненный диск стремительно увлекся в невидимую бездну; и когда солнце окончательно скрылось, в глазах завертелся огромный зеленый круг.

Зажигая звёзды, гася пылающий запад, бесшумно скользила с востока по волнам темная, теплая ночь. Было тихо, чуть слышно стучала машина, шелковый ветерок разбегался по лицу и прятался за шею. Над уснувшим морем чашей опрокинулось бесдонное небо. Оно без слов говорило о вечности, о беспредельном, о глубоком и важном в жизни... Темное молчание ночи, сияние звезд, сонный ропот волн слились в неслышную музыку и унесли меня в блаженную, где то сущую, но нигде ненаходимую страну. Высокая печаль и светлая радость охватили душу. Захотелось взлететь кверху, собрать в кучу все звёзды, перебрать их одну за другой, осыпаться ими и вновь раскидать их по небу.

Пришел Альфредо.

— Ужин готов. Я не хотел вас тревожить раньше, вы, кажется, спали.

Наскоро покончив с ужином, я ушел в свою каюту. Вечером она показалась еще меньше. Постелью служила крышка огромного деревянного сундука, с невысокими вокруг перильцами на случай качки. Столик, небольшой диванчик и умывальник дополняли обстановку. Я разделся и с удовольствием вытянулся на свежей похрустывавшей еще простыне. Через открытый иллюминатор влетал прохладный воздух, и доносился сонный говор моря. Под этот говор я быстро и крепко уснул.

Утром я проснулся рано и, приведя себя в порядок,

вышел наверх. Матросы мыли палубу. Море сияло, как серебряный щит. Небольшое облачко, стоявшее на севере, было похоже на куст жасмина, осыпанный цветами.

Альфредо, сидевший у кают-компани, поздоровался и улыбнулся.

— Как вы спали?

— *Excellentissimo*.

— *Safe e pronto*. Капитан и помощник уже напились, а механики еще спят.

В столовой, где мы были одни, Альфредо прислуживал, болтая о всяких вещах — о хорошей погоде, о пароходе, о своей семье, оставшейся в Неаполе, о капитане... и говоря о нём, Альфредо понижал голос.

Кончив с кофе, я улегся на помосте над трюмом. По верхнему мостику взад и вперед ходил помощник капитана. Он шагал, нахлобучив фуражку по самые уши. Его длинный, печального вида нос, трубой глядевший из под козырька, то поднимался кверху, разглядывая небо, то опускался на палубу и иногда останавливался на мне; серые, безжизненные, как у вареного судачка глаза как-бы спрашивали, кто я, и как сюда попал.

Внизу под мостиком капитан чистил щеткой свои очевидно пароходные брюки. В сбитых сандалях, серых грубых носках, из которых выглядывали голые пятки, в лоснившемся пиджачке, подпоясанный ремешком наш кораблеводитель походил скорее на торговца, что с тележки продает разную чепуху. Вычистив брюки, он повесил их на перила и направился в кухню, по дороге кивнув мне головой. Осмотрев все сковороды, миски и кастрюли, не оставив без внимания и духовку, где что-то пеклось или жарилось, он заговорил с поваром и снова слышался глагол «*mangiare*» во всех временах.

Прислушиваясь без всякого внимания и не понимая, о чём они говорят, я разглядывал стоявший у борта длинный ящик с сетчатой стенкой, где сидели куры.

Здоровый хулиганистого вида петух, с ощипанным хвостом, от которого осталось только три радужных пера, проснулся, поглядел на меня, на своих жен, на море, тряхнул лиловым, как нос старого пьяницы гребнем и, хлопнув крыльями, потянулся вверх пропеть свою песню; но потянувшись, в тот-же миг больно стукнулся башкой о потолок, и начатая песня застряла в зобу. Петух сконфузился, присел и недовольно забурчал. Но непропетое мучило его, и через минуту он снова приподнялся — и снова треснулся затылком. В третий, в четвертый раз — то-же самое. Наконец, он решительно отказался от вокального выступления, прилег и от смущения закрыл глаза.

— Ко-ко, ко-ко, — томно утешала его серая курица, сидевшая рядом, — ах, коко...

Петух сердито покосился на нее.

— Не до нежностей, матушка, видишь, что творится...

— Ах, коко...

Но коко закрыл глаза и притворился, что ничего не слышит.

* * *

С этого утра жизнь на «Диане» вошла в свою колею. На ней, как и везде, где есть люди, были свои верхи и низы. Главой являлся капитан, затем шел его унылый помощник.

Машины, кочегары, электрическое освещение, а также починка корзин и ящиков с помидорами находились в ведении двух механиков. Первый — повыше и помоложе, ходивший всегда с английским ключом — всеми величался «*primo mecanista*». За столом он сидел одесную от капитана. Второй механик — пониже и постарее — никак не величался, словно у него не было ни роду, ни племени, ни профессии, и обращались с ним, как с нежелательным иностранцем. Показывался он только во время еды и сидел на самом дальнем конце стола.

Эта четверка представляла собой пароходные верхи. А между верхами и низами экипажа — небольшая прослойка из среднего класса. Главным лицом этого класса был бесспорно повар. Если капитан являлся источником энергии духовной, то повар снабжал весь экипаж энергией телесной. К нему все ходили — и высшие и низшие, а сам капитан был с поваром в постоянном и дружеском общении.

Помощника своего, молодого человека с мечтательными глазами, повар считал недостойным даже близко подпустить к плите. Тот нисколько на это не обижался, сидел всё время на боченке, чистил картошку, мыл кастрюли, тарелки и надоедал мне постоянными разговорами о музыке и пении, восхищаясь Мазини и Баттистини. Как сам он пел, слышать не пришлось; из музыкальных же инструментов в его распоряжении был только надтреснутый колокольчик, которым он созывал к столу. Но владел он им, как поэт рифмами. Взяв, колокольчик за ручку, гочитатель музыки быстро поднимал его к уху, потом опускал, снова поднимал, вертел вокруг головы и извлекал из этого казавшегося безобидным инструмента такие назойливые звуки, сипевшие, и хрипевшие, что цель достигалась обратная — все прятались по углам, дожидаясь конца этого трезвона.

Матросы и кочегары пропадали где-то в пароходном чреве и большую часть дня были совершенно невидимы. Унылые, бедно одетые, они походили скорее на сухопутных безработных.

Безбилетные пассажиры ничего не делали, и частенько подсаживались ко мне. Оба они были родом из Афин и прежде чем попасть на «Диану» работали механиками на каком-то английском пароходе. В Александрии их рассчитали, и они очутились без дела.

— В Марселе получить место легче, — рассказывал грек повыше, — и когда мы узнали, что «Диана» идет во Францию, мы спрятались. Моряку, понимаете,

обидно платить за проезд. Схоронится матрос где-нибудь в трюме, а когда земля скроется, выходит. Ну капитан, для порядка, пошумит, а потом ничего... Морской обычай.

— Теперь ехать хорошо, нечего бояться, — заговорил другой, — а во время великой войны пустит мину подводная лодка — от парохода только щепки. Мы оба несколько раз так тонули.

Сияющие солнечные дни сменялись звездными ночами, а наше суденышко, постукивая машиной, не спеша шло себе вперед. На мглистом горизонте показывались иногда очертания небольших островков, изредка встречались и таяли в пространстве серебряные паруса маленьких корабликов... Так хотелось знать — кто на них плывет, куда, зачем?

В тишине и кенарушимом ничем покое, ожила и расправила свои крылья фантазия. Она мчалась к далеким горизонтам, за которыми скрывались неизвестные страны, возвращалась к тем временам, когда на своих легких биремах и триремах греки и римляне бороздили это голубое море, разнося по всему миру свою культуру и религию. И становилось грустно, что нет уже ни греков, ни римлян, и что прошлое, раз совершившись, уже никогда не возвращается.

И всё-же где-то жило оно.

В тихом плеске волны чудились давно замолкшие голоса, пропевшие удивительные поэмы, рассказавшие неумирающие легенды.

Насторожившийся слух ловил давно забытые, но знакомые слова, глаза не отрываясь глядели на море... И вот — несравненной красоты плечо на миг является среди жемчужной пены лениво поднимающегося вала; появляется, блещет, волнует — и тут-же рассыпается на яркие брызги. И нет пенно-рожденной богини... Но снова подходит волна; в изумруде и перламутре опять появляется Киприда, а вокруг — веселая свита трубящих в раковины тритонов и нежных персид...

По утрам не солнце всходило, а отворялись небесные ворота, выезжала колесница лучезарного Феба. Мчатся по высокому небу неукротимые кони, весь в сиянии смотрит на землю бог солнца, любит её, целует, согревает и заливаает светом весь мир...

И откуда пришли на землю эти легенды, поэмы и сказки, свежие, как роса, и радостные, как ранний день?..

* * *

Однажды утром над пароходом появились чайки, а на горизонте — высокий гористый остров; «Диана» словно прибавила шагу, и через два-три часа мы уже были в тени его берегов. Матросы высыпали на палубу и молча глядели на острые обрывистые скалы, падавшие прямо в море. Сразу-же поднимаясь от берега, горные цепи рядами шли к середине острова, и на самых высоких ярко блестел еще снег. Бесплодные, крутые склоны их, разделенные черными ущельями, были изрыты узкими руслами быстрых потоков. Нигде ни садов, ни голей, ни малейшего следа растительности, ни одной человеческой фигуры. Только стоявший на отвесном утесе белый маяк свидетельствовал, что люди тут. Всё-таки, есть. У подножья бесжизненных скал судорожно билось море и окружало остров грозными бурунами. Отраженные от берегов волны, большие, тускло-оловянного цвета, гохожие на пологие холмы плавно перекачивали нашу маленькую «Диану». Потускнело и само небо. Вдруг дунувший с гор ветер принес сухую свежесть снега.

Все зябко заежились.

Кто-то подошел и стал рядом со мной. Повернувшись, я увидел высокого грека-зайца. Он стоял, облокотившись на герила, и внимательно разглядывал безотрадные берега.

— Когда мы приедем? — спросил я.

Он посмотрел на море, на горизонт, на небо.

— Через четыре или пять дней, если погода будет хорошая. Но теперь конец марта, и в это время на море бывают сильные бури, особенно между Сицилией и Марселью. Этот переход опасен. А в Лионском заливе, после Корсики, иногда так дует, что пароходы становятся носом против ветра и ждут, когда стихнет, — настоящая львиная пасть, схватит — долго не выпускает.

— Но погода пока хорошая.

— Как-бы она не переменялась. Вы видите, небо словно полиняло, вода — серая, и горизонт затуманен.

— А как называется этот остров?

Грек что-то сказал, но ветер отнес его слова. К вечеру на другой день показались южные берега Италии. Совершенно спокойное море было странного, бледно-синего цвета. Шли мы совсем близко от земли, и простым глазом можно было видеть города, деревни, линию железной дороги, иногда доносился свисток паровоза. То была Калабрия, некогда знаменитая своими разбойниками, мрамором и дикостью. Чтобы лучше видеть никогда еще невиданную страну, я взобрался на мостик.

— А вот и Сицилия, — показал капитан на густой, шапкообразный туман, неподвижно стоявший впереди на море.

Чем ближе подходил пароход, тем гуще становился туман. Ни Этны, ни гор, ни городов нельзя было видеть даже в бинокль. Поразительный контраст между ясными очертаниями итальянских берегов, подернутых розовыми сумерками, и непроницаемой кисеей, скрывавшей Сицилию. Зашло солнце, сумерки быстро густели. На итальянской стороне один за другим зажигались маяки.

В маленьком городе, на склоне, у самого моря вспыхнуло электричество. Правильные цепочки ярко блестящих огней, ожерельем опоясали весь городок и

подойдя к самому берегу отразились в черной колыхавшейся воде.

— Реджио, — сказал кто-то за спиной.

— А вот и Мессина, — добавил другой.

Наискось от Реджио, на сицилианском берегу стояло низкое, бледное, постепенно удлинявшееся зарево. Мы прошли около самой Мессины, но ничего, кроме этого тускло-мертвенного тумана, не увидели. Как погребальный саван, он окутал весь город, ни одного звука не донеслось оттуда. И со всех сторон черная ночь, как могильный мрак, окружала молчаливый город.

Скрылась скудно освещенная Мессина. «Диана» уже шла среди кромешной тьмы. А у самого выхода из пролива, на уровне моря, через одинаковые короткие промежутки загорался и тух большой рубиновый огонь, словно неведомое апокалипсическое чудовище открывало и закрывало свой единственный глаз, высматривая добычу.

Без видимой связи с землей безмолвно мигавшее кровавое пламя наводило невольную жуть.

В воздухе холодело и все сошли с палубы.

Ночью приснилось, что я попал к китайцам, а они почему-то стали бить меня палками. Я побежал, они — за мной, и все швыряли чем-то твердым, метко попадая то в затылок, то в плечо, то в спину, и при этом выли от радости. Как-то пришлось в голову, что это только сон и, чтобы избавиться от боли, надо проснуться. И я проснулся, зажег электричество, прислушался. Наружу выл и бушевал ветер; высокие волны лезли в иллюминатор, к счастью закрытый. Мои башмаки прогуливались по полу от кровати к двери и обратно, словно прося выпустить их на свободу. А собственное грешное тело перекачивалось на матрасе, как карандаш в пустом пенале, больно стучаясь головой и ребрами о перильца.

Сон, что называется, в руну!

Я почувствовал, что приближается припадок удушья. Захотелось выйти на свежий воздух. Но чтобы выйти, надо было одеться. Костюм мой, висевший на крючке у изголовья, дрыгал и болтался из стороны в сторону, как повешенный. Я протянул руку схватить брюки, но в этот миг сильно качнуло и, взмахнув подтяжками, словно человек руками, брюки отклонились к противоположной стороне и прилипли к стенке. Я приподнялся, уцепился за герильца и ждал, когда они вернутся обратно. Отцепившись, наконец, от стены, брюки важно, неторопливо приближались ко мне, и я так же важно, неторопливо уже катился от них. Вышла игра — я за брюками, они от меня, брюки за мной — я от них.

Рассердившись, я выскочил из кровати, и сейчас же меня потянуло к одной стенке, готом к другой, что-то ударило по голове, из графина плеснуло водой. Схвативши костюм, я сел было на стульчик и в тот-же миг слетел с него. Наконец кое-как одевшись, я выскочил в корридор, что вел к лестнице наверх. Корридорчик был длинный и узкий. Пол годо мной сперва опустился и я стремглав побежал вперед, потом он поднялся, и я так-же быстро откатился назад; как-то случилось, что пришлось встать на четверинки. В этот момент из каюты первого механика вылетел пустой бидон из-под смазочного масла и с грохотом загулял по корридору, пока где-то не застрял. Спасаясь от бидона, я побежал вперед и через отворенную дверь увидел, как primo-mecanista, одной рукой держась за стенную скобу, другой выуживал из сундука проворно бегавшую бутылку с коньяком.

Наверху было мокро и скользко. Металлические тросы гудели, как натянутые струны. Нос и корма попеременно зарывались во взъерошенные волны. Иногда сбоку вырастал вал и со вздохом плюхался на палубу. Капитан в каучуковых сапогах бегал, кричал, что-то приказывал, на каждом шагу вспоминая Мадон-

ну. Его помощник, стоявший на мостике и невозмутимый, как всегда, с равнодушным видом поглядывал на суевившееся начальство.

Побуянив еще немного, ветер стих. Все отправились досыпать.

На следующее утро, взглянув на море, я не узнал его — свинцовое, зловещее, мрачное, совсем непохожее на голубое египетское. Большие волны ритмично поднимали и опускали кряхтевшую «Диану». Низкие тяжелые тучи закрывали небо. Несколько раз принимался падать мелкий холодный дождь. Высокий грек механик сидел под навесом у каюты.

— Скверная погода, — сказал он, — как-бы еще хуже не стало.

— Когда идет дождь, большого волнения, кажется, не бывает, — заметил я.

Но вскоре ветер усилился, тучи разогнало, волны стали больше. Легкая мгла легла на море до самого горизонта. На тускло-красное солнце можно было глядеть не шурясь.

Из-за качки повар ничего не приготовил, и мы получили только жесткие галеты.

Время тянулось томительно. К полудню стало еще хуже. Пришел час обеда, но никто не хотел есть. Повар опять роздал галеты.

— Эту ночь вряд-ли придется спать, — сказал с беспокойным видом, грек мой собеседник. Все были серьезны, все испытывали томительное чувство большой приближающейся опасности.

«Диана» всё глубже ныряла и взлетала всё выше. Когда на миг она останавливалась на гребне, глаза всех невольно устремлялись вперед — не покажется ли твердая земля, где можно было-бы переждать бурю. А буря только начиналась. По палубе трудно было ходить. Пробегавший мимо капитан предложил грекам работать эту ночь в кочегарке — из-за качки надо

было чаще менять людей, и рабочих рук не хватало. Греки согласились.

Повар накрыл своих кур брезентом, обвязал веревкой, привел в порядок на кухне буфет, запер ящики и куда-то бесследно исчез. Матросы наглухо задраили все люки и иллюминаторы и еще крепче привязали к бортам и палубе всё, что могло сорваться. Эти малоутешительные приготовления неожиданно напомнили, что «Диана» уже провела восемнадцать месяцев год водой. Какие воспоминания остались у нея о дне морском? Не захочет-ли она еще раз побывать там?

Перед вечером стало как будто стихать, но вдруг страшный порыв ветра до самого дна потряс пароход. «Диана» сильно накренилась на правую сторону, с трудом выпрямилась и еще ниже легла на левый борт, а когда поднялась, нос врезался в водяную гору, и вслед за этим огромная волна накрыла палубу. Мы точно куда-то проваливались. Я едва успел взобраться на капитанский мостик. С треском лопнули веревки, которыми были привязаны к перилам помидоры; груды корзин, какие-то ящики поползли в одну сторону, потом в другую. Из двух канатов, державших шлюпку, один не выдержал, порвался; шлюпка повисла на другом, и изо всей силы заколотилась о борт. Чтобы не быть раздавленными или смытыми в море, люди, бывшие на палубе, попрятались, кто куда мог. Всё случилось страшно быстро, и никто не мог в первую минуту отдать себе отчета, что делается — перевернулся пароход, идем мы ко дну, или нет? А корпус дрожал от напряжения, где-то со свистом порвался металлический трос. Но, наконец, «Диана» сбросила с себя волну. В этот момент темный, неопределенный формы предмет показался на воде и скрылся. У вахтенного и у меня мелькнуло — не человек-ли? И мы оба уставились на море. Прошло несколько тягостных секунд, предмет снова появился — корзина с помидорами.

Помощник капитана первый пришел в себя, прика-

зал собрать и снова закрепить ползавшие по палубе предметы. Обвязав себя веревками, матросы бросились ловить и увязывать корзины и ящики. Оба грека тоже приняли участие в работе и оказались очень ловкими и опытными моряками. Через короткое время всё было уже в порядке.

Я сошел с мостика и, цепляясь за перила, канаты и тросы, добрался до столовой, где нашел Альфреда и сел рядом с ним на высоком дверном пороге. Чашки, подвешенные на крючках в потолке, отчаянно раскачивались, в буфетных ящиках гроыхала посуда.

— А где капитан? — спросил я.

— У себя в каюте, молится.

Из машинного люка вылез кочегар с припухшим, как при водянке, лицом, держа в руке большое ведро, полное золы. Осторожно переступая, он подошел к перилам и, выбросив золу в море, долго смотрел, как её уносило ветром; потом поколотил еще в доньшко и снова полез в свою дыру. Всё это он проделал так спокойно и равнодушно, словно стояла самая прекрасная погода. Это спокойствие успокоило немного и меня. Вслед за ним спустились в кочегарку и греки.

Время тянулось медленно. Ветер дул с кормы, и «Диана» шла словно по водяному корридору, но палубы больше не заливало. Мы с Альфредо сидели и молчали.

Вдруг послышался жесткий удар в левый борт, в пароходном чреве даже что-тобрякнуло. Молнией сверкнуло в голове — мина!.. — и в этот момент над трубой со свистом пронеслась верхушка ударившей волны и упала за борт.

— Santa Maria, — прошептал побледневший Альфред.

Откинулась крышка люка, показался замазанный углем грек, тащивший за собой на буксире молоденького кочегара, бившегося в нервном припадке. Кочегаренок пронзительно визжал, плакал, призывал свя-

тых, но что было хуже — одна рука и нога его были от страха парализованы. Втащив юношу в столовую, грек отдал его на попечение Альфреда, а сам опять отправился работать. Очутившись в роли няньки, Альфред стал успокаивать пострадавшего.

Успокаивал он так убедительно, что тот перестал было кричать, но неожиданно отворились двери буфета, тарелки, миски, графины попадали на пол, и осколки их загуляли по всей каюте вместе с ножами и вилками, производя звук, подобный зубовному скрежету.

Большой глиняный фильтр для воды наклонившись с завистью поглядывал на катавшуюся по полу компанию; только цепочка, которой он был прикреплен к стенке, лишала его этой радости.

Спасаясь от осколков, я вклинился в узкий промежуток между буфетом и стенкой, а Альфред вскочил на диван и обнял спинку его, как родную мать. Брошенный своим попечителем кочегар снова завопил, как недорезанный поросенок. Что-то или кто-то стукнул в дверь, та с треском распахнулась, и перепрыгнув через порог к нам влетела корзина с помидорами; прогулялась по осколкам и снова выскочила на палубу. Следом за ней, на четвереньках выполз и я.

Посредине парохода, у трубы, где меньше качало и было теплее, сидели греки, отдыхая после кочегарки. Я подошел к ним, потом подошел еще кто-то.

— Вот вам и бессонная ночь, — сказал грек повыше.

Никто не отозвался, всех занимало только одно — переживем-ли мы эту бурю.

— Ветра как будто меньше, — робко заметил я.

— Это значит, что задует, и еще сильнее, с другой стороны.

Альфред, которому надоела роль утешителя, выскочил из столовой и присоединился к нам. В корзине поближе он сделал дыру и взял несколько помидоров. Все последовали его примеру, презрев закон о неприкосновенности частной собственности. Но кочегар, ка-

тавившийся по полу в столовой, продолжал вопить, и Альфред побежал к нему. Вскоре ушли и греки на работу, разошлись и остальные, я остался один. Ночь была темная; стоявший на вахте помощник капитана бегал по мостику, цепляясь за поручни. Иногда он останавливался и смотрел, что делается впереди.

После полуночи ветер переменился и задул с другой стороны. Сквозь тонкие, разорванные, быстро бежавшие тучи изредка показывалось небо, полное звезд. На горизонте, в одном месте ветер словно прогнал тьму и в этой точке показалось какое-то туманное пятнышко. Понемногу приближаясь и увеличиваясь, оно превратилось в слабое зарево и, наконец, распалось на отдельные яркие огоньки: близко от «Дианы» прошел большой пассажирский пароход. Длинные ряды иллюминаторов, окна кают и палуба были ярко освещены. От этой неожиданной встречи на душе стало легче — мы не одни среди темного бушевавшего хаоса. Окрепла надежда, что всё обойдется благополучно. Пригретый теплом от трубы я незаметно задремал, а когда проснулся, то восток уже золотился. Мгла исчезла, небо было чистое, пароход не качало. Несколько чаек сидело на волнах, а другие с криками носились над нами. Из свинцового — море снова стало голубым. Показались гористые берега Сардинии. Капитан решил дождаться в какой-нибудь бухте хорошей погоды, все этому решению очень обрадовались. Вылезли из трюма греки, черные, как вакса; они всю ночь работали у котлов и очень устали. Подошел капитан, дружески поздоровался с ними и приказал повару немедленно накормить их — только благодаря грекам удалось всё время поддерживать пар.

Мы шли уже под прикрытием Сардинских гор, отыскивая местечко, где можно было-бы остановиться, и вошли, наконец, в длинную извилистую бухту, окруженную высокими скалистыми берегами. В конце бухты около крошечного круглого островка бросили якорь.

Здесь было так спокойно и тихо, что прошедшая ночь показалась кошмарным сном. На берег сошел только капитан с какими-то бумагами. Весь экипаж, измученный бурей, лег очень рано спать. Утром, проснувшись мы увидели недалеко от «Дианы» длинный двухтрубный пароход, раз в пять больше нашего.

— Уж если такой спрятался, — говорил матрос, стоявший ночью у рулевого колеса, — какой-же значит был ветер?

Пробыли мы в нашем убежище два дня. За это время кочегары отмылись и снова стали белой расой. А повар, нагоняя упущенное, кормил так, что сухие греки даже немного пополнили.

На третий день «Диана» вышла из бухты, хотя знаки на маяках показывали, что в открытом море шторм еще продолжается.

И только мы покинули наше тихое пристанище, как нас стало так швырять, что пришлось войти в первый попавшийся порт, оказавшийся военным.

Все приуныли, а особенно капитан и куры.

Капитан потому, что портился товар; а куры, как животные сухопутные, не переносили качки и холодных душей, и дошли одна за другой к великому огорчению повара.

И погода опять изменилась — дождь, снег, резкий холодный ветер.

Под вечер мимо «Дианы» прошло несколько лодок, нагруженных сетями и разными рыболовными принадлежностями. Повар накупил у рыбаков рыбы, а матросы — густо усаженных по всей скорлупе твердой щетиной темно-зеленого цвета морских ежей. Осторожно расколов ежа пополам, матросы с наслаждением глотали находившуюся внутри мякоть. Предлагали попробовать и мне, но я не мог преодолеть своего отвращения к этим молчаливым колючим животным, поедаемым к тому-же живьем.

В военном порту мы простояли недолго. Наш ка-

питан охал и ахал, глядя на портившиеся помидоры, и решил выйти, как можно скорее. И на другой день, в восемь утра мы подняли якорь и вошли в пролив святого Бонифация, отделяющей Сардинию от Корсики.

Ветра здесь не было, но у скалистых берегов шумел сильный прибой, а по середине пролива тяжело, словно сонные, нехотя переваливались огромные, полукруглой формы валы без гребней.

Благополучно миновав Сардинию, подошли к Корсике и некоторое время шли вдоль ее берегов. На узкой полоске земли, зажатой между морем и зелеными горами, я увидел небольшой городок.

— Аяччио, — сказал матрос, стоявший рядом. Но родина Наполеона меня в эту минуту не интересовала — задул уже ветер, начало качать. Небо от ветра сразу очистилось, блеснуло солнце, вода засинела.

Недалеко от Аяччио, у входа в его порт, темнел островок с маяком и генуэзской башней — Остров Крови, описанный еще Альфонсом Додэ. За островком, на самой Корсике, заслоняя голубую даль, острые горные пики блестели от свежее выпавшего снега.

Понемногу «Диана» стала забирать влево, направляясь в открытое море; и чем дальше она уходила от земли, тем сильнее становился ветер — по ветру несло как на крыльях, а против — невозможно было идти, разговаривая кричали на ухо. Со скрипом ложилась «Диана» то вправо, то влево, становилась на дыбы, а иногда, брыкнувши, показывала руль небу.

Стоявший у борта грек внимательно разглядывал что-то вдали. Потом он поманил меня.

— Видите ту серую скалу, с сосной на верхушке? Немного впереди от нас.

Я всмотрелся.

— Вижу.

— Заметьте, когда она останется позади.

Я принялся наблюдать.

Прошло пять минут, десять, пятнадцать — мы были

всё на том-же расстоянии от скалы, «Диана» вперед не подвигалась.

— Что это значит?

— Слабая машина, мы топчемся на одном месте.

Хватаясь за перила, сразу перепрыгивая через несколько ступенек, на капитанский мостик вбежал primo mecanista. Синие штаны его пузырились от ветра, из заднего кармана торчал английский ключ, а лицо выражало сугубую тревогу. Сложив руки рупором, от чего-то прокричал капитану на ухо.

Из кочегарки вылез кочегар, мокрый от пота, и сел у трубы.

Альфредо подскочил к нему и перебросившись несколькими словами сообщил нам:

— Машина отказывается работать. Пары такие, что может взорваться котел. Primo mecanista советует переждать бурю в Аяччио.

— Теперь повернуть опасно, — сказал грек, — во время поворота боковая волна может опрокинуть пароход и руль еще сорвет. Вот тогда... — и, не дожидаясь, он вытащил помидор и принялся спокойно закусывать. Никто ничего не сказал. Все молчали и глядели вперед. Впереди были только пенистые гребни и далекий синий горизонт.

Не знаю, сколько прошло минут, но когда я снова глянул на нос «Дианы», — вместо гребней я увидел берег Корсики — «Диана» делала поворот. Рулевой оказался на высоте — пароход не опрокинулся; ветер задул с кормы, мы шли в Аяччио. Самая высокая волна ожидала нас перед бухтой, у островка Крови, но это была волна, так сказать, попутная. За островком сразу стало тише; тут стоя на маленькой лодочке нас поджидал уже лоцман. Он провел «Диану» в самый порт; громыхнула якорная цепь, пароход остановился.

Из трюма повылезали матросы и кочегары, и заходили по палубе, посматривая на горы, на город, на набережную. Но ходили очень странно: высоко подни-

мая ноги, раскачиваясь телом, хватаясь без всякой надобности за канаты и поручни.

Через окно столовой я видел, как капитан, сделав шаг к своей каюте, сейчас-же отлетал от нея на два шага назад, напрасно пытаюсь схватить ручку от двери.

И меня потянуло наружу; я поднялся, и вдруг ноги сами собой мелко и быстро побежали вперед, потом сразу остановились и, схватившись за дверной косяк, я низенько присел перед выделявавшим удивительные зигзаги поваром — за эти дни наши ноги и тела потеряли веру в неподвижность земных вещей, — мы привыкли бегать, останавливаться, приседать, хвататься за что попало. Не сразу вернулась способность ходить по ровному и неподвижному, как ходят все люди по земле. И еще было одно удивительное обстоятельство — несмотря на сильную качку, я не страдал на «Диане» от морской болезни.

Измученный и уставший, я решил остаться в Аяччио и дожждаться почтового парохода в Ниццу. Как уверяли греки, от Аяччио до Ниццы пароход шел всего 10-12 часов. Это было лучше, чем еще несколько дней мотаться по бурному морю.

Я заявил о моем решении капитану. Но тот, вместо того, чтобы обрадоваться, заволновался, наговорил много о строгостях местного карантина, о своей обязанности доставить меня к месту назначения, о неприятностях, которые причинит ему в Марсели мое отсутствие, а самое главное — не хотел дать лодки; «Диана» же стояла шагах в ста от берега. Разговор наш продолжался долго. Весь экипаж с любопытством прислушивался к нашему спору.

Не знаю, чем-бы это кончилось, если-бы я как-то случайно не заметил, что возврата денег я не требую. После этого всё сразу изменилось. Капитан перестал возражать, даже улыбнулся, попросил немного обождать и удалился в свою каюту. Вышел он оттуда

уже одетый в форменный скюртук, пахнувший нафталином, и приказал спустить шлюпку.

Матросы, кочегары и все остальные вышли со мной попрощаться. И вдруг я почувствовал, что эта маленькая «Диана» и эти люди какой-то своей стороной уже приросли к моей душе. И капитан, что боялся людей, которые не едят; и греки — морские зайцы не только по нужде, но и по убеждению, что матрос не должен платить за свой проезд по-морю; и веселый, услужливый Альфредо, и хромой пиццеваритель — повар...

Я крепко пожал руку всем моим спутникам, и через несколько минут мы с капитаном были уже на берегу. Попрощавшись и пожелав мне «*buon viaggio*», капитан вернулся к себе.

Оставшись один, я ждал, что на меня так и набросятся строгие карантинные и таможенные власти. Но власти не приходили. И никто вообще не приходил. Вместо людей, из кустов при дороге выдрался шершавый песик, очень добродушного вида, приняхался, приветливо гавкнул и, махнув хвостом, побежал дальше. А человек в форме, покуривавший на скамейке у большого здания с надписью «Таможня», выколотил трубку и, не глядя на меня, пошел куда-то своей дорогой.

Этим и ограничились карантинные, таможенные и всякие другие строгости на Корсике.

С паспортом в кармане, с чемоданом в руке, я отправился на поиски ближайшей гостиницы. Приют удалось найти очень скоро.

Два дня отдыха, ночь на море, и вот я уже в Ницце, во Франции. Я несколько не жалею, что проехал большую часть пути на «Диане». На маленьком грузовом пароходе я чувствовал себя ближе к природе, ближе к людям. У нас были свои радости и свои огорчения, были хорошие и мучительные моменты. Крайняя опасность переплеталась в нашей жизни с неудержимо смешным. Смешное веселило, а опасность сближала

всех; она учила уважать мужество одного и не осуждать робости другого — кому что дано от природы, тот таким и бывает, а перед смертью все равны.

Всё кончилось благополучно и маленькая «Диана», как я слышал потом, добралась, хоть с трудом, до Франции. Но долгое время спустя я не мог видеть корзины с помидорами и глядеть на быстро текущую воду — с запозданием, а начинало укачивать.

ГОЛУБАЯ ЗВЕЗДА

Сказка – балет

Однажды вечером вспыхнула на небе новая звезда. Такая она была голубая, так ласково глядела на землю, что люди останавливались, поднимали головы и говорили:

— Ах, какая она прекрасная, посмотрите, как она сияет!..

Звезда действительно была прекрасной: Тот, кто творит миры и пространства, создал её из самого благородного и драгоценного, что только есть во вселенной.

Но звездочка была одинока — до других звезд — далеко, вокруг — пусто и черно, и кроме того очень страдала она от холода: на небе всегда ниже нуля, и морозы там похуже крещенских.

Закоченев, голубая звездочка куталась в пушистые меха-туманы, да не помогало. И ей было очень тоскливо.

Пролетала как-то мимо хвостатая комета. Увидела она озябшую звездочку, поцеловала её и закутала в свое прозрачное покрывало.

— Милая моя звездочка, ты такая очаровательная,

что я хоть и тороплюсь, а всё-же побуду с тобой немножко.

— Откуда ты? — спросила звездочка.

— Я видела сейчас землю. Знаешь, такой маленький комочек. Там теперь весна, поют соловьи.

— А что такое весна?

— Весна, звездочка, это когда тепло, цветут ландыши и сирень, а воздух опьянительно пахнет; вечерние зори полыхают на небе, такие яркие, пурпурные, золотые, ночи-же прозрачно-синие; черемухи и яблони стоят, как невесты — так много на них белых цветов. И люди весной особенные — они часто глядят на небо и говорят: Боже, как чудесно, какое счастье жить! Весна — это пора любви.

— А что такое любовь?

— Как тебе сказать? Мы, кометы, не знаем, что такое любовь. Друг с другом мы никогда не встречаемся и только постоянно торопимся... А у людей любовь — это когда двое, и не надо третьего. Еще говорят, что любовь сильнее смерти... Но мне уже пора, милая звездочка, меня всюду астрономы поджидают, знаешь, такие люди с трубой. Не покажусь во время — сколько разговоров!.. А какой здесь морозище!.. Ну, прощай, прелестное дитя...

Поцеловала комета звездочку и умчалась. А звездочка осталась одна, задумалась... Очень ей захотелось увидеть, как цветет сирень, посмотреть на пылающие зори, на черемухи, что похожи на невест, подышать душистым воздухом, узнать, что такое — когда двое и не надо третьего, и что это, что сильнее смерти.

Взмолилась она Творцу.

— Создатель, отпусти меня на землю. Говорят там теперь весна, тепло, цветет сирень и ночи прозрачно-синие. А тут так холодно, и я всё зябну.

— Пусть будет по твоему, — сказал Творец.

И голубая звезда пропала с неба. Первым заметил это многодумный Тук-Тук, дятел-астроном, что снимал

квартиру в дупле старого дуба. Поглядел он сперва правым глазом, потом левым — нет и нет звезды. Почесал он лапой за ухом, трубу из дупла приволок, на небо наставил, ну ничего нет, даже дырки не осталось.

Всполошился многотупый Тук-Тук, и давай во все академии телеграфировать — была голубая звезда, и сплыла, а куда и по какой причине — неизвестно... Большой переполох в ученом мире случился.

Ничего не могли, конечно, найти — звездочка на землю сошла. И сошла она очаровательной молодой девушкой, но совсем как земная, а от небесного у нея только глаза остались.

А в это время ушастый Зай на огороде капусту поливал, гряды полонил и куцым хвостиком дорожки подметал. Громадная семья у Зая была — уйма маленьких зайченят!.. Ну-ка, прокорми-ка их всех, каждому булочку сунь, да сахару дай, да штанишки сшей, да сапожки купи... Но Зай не унывал. Работает себе на огороде, хвостом вертит, да напевает:

Вот я, Зайка молодец,
Сделал грядку наконец...

Работы много, и помогал ему племянничек, плюшевый медвежонок, Плюш по имени.

И вдруг идет мимо огорода девица некая: платьице голубое, ножки серебряные, сердце золотое, сама стройненькая, а глаза — звёзды, так и сияют, так и переливаются.

Увидел Зай, обомлел, бросил свою лейку, племяннику наказывает:

— Ты, Плюш, тут без меня поработай, а я к своему приятелю, Ежу, сбегать на минуту, дело есть.

— Ладно, — говорит Плюш, — бегите, дяденька, коль не терпится, а я тут уж управлюсь как-нибудь.

Прибежал Зай к землянке, где еж жил, стучит:

— Еж, а Еж, — ты спишь?

— Сплю, и даже очень крепко.

— Вставай, я тебе что-то скажу...

— А вкусное оно?

— Лучше, чем вкусное.

— Ну так я не сплю, выйду сейчас, только побреюсь, а то весь колючками оброс.

Вышел еж через минутку, побритый, полотенцем вытирается.

— Ну, что такое?

— Звездочка-то, та самая, что дятел искал, на землю сошла, вот что...

— Бреешь ты, Зай, всегда у тебя фантазии в голове...

— Да отвались мой хвостик, посохни капуста моя... Платице на ней голубое, ножки серебряные, сердце золотое, а глаза — звёзды.

— Коли так, — говорит Еж, — дело серьезное... Не выпивши — не разберешь. Айда, Зай, в кабачок за здоровье звездочки выпить и обсудить как и что, ежели...

Умственный был Еж, любил выражаться. Пошли они в кабачек да и застряли, как водится.

После-то говорили что Зай в кабачке с Ежом в присядку откалывали, а снегири хором распевали:

«Ходи изба, ходи печь
Ежу с Заем негде лечь...»

А звездочка шла себе и шла. Недалеко от дорожки, по которой шла она, принц один жил. Молодой и красивый такой, да бедный - пребедный. Только и было у него, что балкон серебряный, где он время проводил, да бархатный плащ, золотом вышитый. А вышла его фея Фантазия собственными руками и принцу в день рождения подарила.

Чудесный был плащ, необыкновенный. Кто накинёт его на себя, сейчас-же либо стихи писать начнет, либо на гитаре играть, а то романсы напевать, а кто и в пляс пускался.

Родных у принца не было. Только одна старая няня жила при нём. Носки ему штопала и на принца ворчала, с утра до ночи. А ночью оба спали, конечно.

Встали они как-то утром, умылись, помолились, положила няня на стол скатерть самобранку.

И вот скажет раньше бывало — ну-ка скатерть развернись, хлебом солью обернись, — и скатерть развернется, а на ней-то в одном углу кулебяка, в другом пирожки с разными начинками, в третьем — сладкие булочки... А посередине — кофейник с кофе, сливки, сахар, варенье...

Поедят, попьют няня с принцем, и скатерть сама свернется до следующего приказа, и никаких тебе базаров, ни посуды мыть, ни в очередях стоять. То-есть никакой заботы.

Но только на этот раз что-то случилось — раскинулась скатерть, а вместо кофе да булочек — бумажки и карточки одне на кофе да на булочки; время-то было военное — всё по карточкам. И ничего больше не добились от самобранки.

Сидит принц на балконе, скучный прескучный.

Плащ на гвоздочке болтается, гитара сиротой в углу стоит — ни петь, ни плясать, ничего не хочется.

Глядь, около заборчика девица некая идет — платьице на ней голубое, ножки серебряные, сердце золотое, вместо глаз звёзды сияют. Принц с балкона да к забору.

— Это вы с неба сошли? Вас еще астрономы искали...

— А это вы очаровательный принц?

Принц только рукой махнул.

— Какой я очаровательный!.. Носки у меня штопанные, сапоги дырявые. Стихи пишу — никто не читает, на гитаре играю — никто не слушает, только няня с утра до вечера ворчит.

А няня на помине легка, тут как тут. Гостиё учтиво поклонилась и на принца ворчать.

— Ты бы, принц, чем с девицей через забор говорить, в сад к себе бы пригласил, цветочки-бы показал,

— и шепотком добавила, — да плащ свой накинй, а то у тебя-то из под пятницы суббота глядит. Обносился-то как...

Накинул принц плащ и с девицей звездой в сад отправился, что под балконом был. Много цветов в саду том росло — розы, ирисы, фиалки, нарциссы, голубые колокольчики...

Гуляет принц со звездочкой по дорожкам, всё ей показывает, а сам думает:

— Вот, если-бы потанцевать со звездочкой...

И кончить не успел, как звездочка ему говорит:

— Очень я танцы люблю. А вы, принц, танцуете?

— Обожаю, — отвечает, — и позвольте вас на миг менуэт пригласить.

Пошли они танцевать. Танцуют, а голубые колокольчики звенят, но то не звон был, а самый лучший менуэт.

Держит принц за ручку звездочку, глаз с нея не спускает, и то сойдутся, то разойдутся, приседают, реверансы делают.

И говорит принц:

— О, я теперь совсем не бедный, я очень даже богатый.

А звездочка в ответ:

— Боже, как чудесно, какое счастье жить!

И открылась перед ней вся красота земная: весна душистая, зори вечерние-яркие, золотые, пурпуровые, ночи прозрачно-синие...

Взглянула на принца, а перед ней — стройный юноша в серебряном костюме, с кудрями по самые плечи, и так смотрит на нее, что опустила глаза звездочка и прошептала:

— О принц, о мой очаровательный принц, я теперь знаю, почему когда двое, не надо третьего, и что это, что сильнее смерти.

И такая вышла прекрасная пара — дева-звезда и очаровательный принц, что из соседнего болотца лягу-

шата прискакали посмотреть. Смотрят, и колокольчикам в лад подквакивают. Такая музыка получилась восхитительная, что Зай ушастый прибежал с колючим Ежом, зайченок малые, племянник Плюш с сестрой Плюшихой. Схватились все они за лапы и давай плясать вокруг звездочки и принца. Пляшут и поют:

«Розы вянут от мороза,
Ваша прелесть никогда...»

И цветы не устояли, сорвались с места. Розы, тюльпаны, нарциссы, крошки фиалочки — давай кружиться около счастливой пары.

Так было красиво, что луна остановилась, звёзды небесные приблизились посмотреть, что делается на земле.

Никто не заметил, как хоровод весь на небо поднялся и там бриллиантовой пылью рассыпался.

И если звездной ночью ты всмотришься, что делается там, у звезд, то можешь услышать небесную музыку, под которую кружатся и принц, и его дама, и розы, и зайченок, превратившиеся в звездочки.

Ведь всё прекрасное сходит с неба и уходит туда-же.

А на том месте, где был сад феи Фантазии, выросли молодые бодрые елочки. От них-то я и услышал эту сказку.

О Г Л А В Л Е Н И Е

СО ВСЕМИ ВМЕСТЕ

ГЛАВА I.	У себя	7
ГЛАВА II.	Водоворот	23
ГЛАВА III.	Мысли рожденные в тревоге	39
ГЛАВА IV.	Горе нансениста	49
ГЛАВА V.	Дом под сенью св. Олафа	59
ГЛАВА VI.	Свет во тьме	65
ГЛАВА VII.	Отъезд	75
ГЛАВА VIII.	«Норма»	89
ГЛАВА IX.	Испытания в пути	102
МЕЖДУ НЕБОМ И ВОДОЙ		115
ГОЛУБАЯ ЗВЕЗДА		151

.

ДОМ КНИГИ
MAISON DU LIVRE ÉTRANGER
9, rue de l'Éperon — Paris 6^e